

АЛЕКСЕЙ КОКОТОВ

НАД ЧЕРНЫМ ЗЕРКАЛОМ

Стихотворения, поэмы,
поэтические переводы,
статьи о литературе



АЛЕКСЕЙ КОКОТОВ

НАД ЧЁРНЫМ
ЗЕРКАЛОМ

*СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ, ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
И СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ*



Водолей Publishers
Москва – 2008

ББК 84(2Рос=Рус)6Р

К59

В оформлении использована работа *Жана Жерома*
«Дуэль после карнавала»

Кокотов А.

К59 Над чёрным зеркалом: Стихотворения, поэмы, поэтические переводы и статьи о литературе. – М.: Водолей Publishers, 2008. – 224 с.

ISBN 978–5–9796–00027–Х

ББК 84(2Рос=Рус)6Р

ISBN 978–5–9796–00278–Х

© А. Кокотов, 2008

© Водолей Publishers, 2008

ЧАСТЬ 1
СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Укрылись бронёй ледяною
И корни, и мох, и земля.
На лес наплывало стеною
Безмолвие. Не шевеля
Ни веткой, ни пёрышком птичьим,
Всё круче мороз забирал.
Лес замер над зеркалом чёрным
В зловещем, угрюмом величье
Недвижимых пик и забрал.

Свет лунный, во льду отражённый,
Чуть видными бликами пал
На камни, на ствол обнажённый
И в чаще ольховой пропал.
Зимой беспощадной, бесснежной
Услышал я с волчьей тоской,
Как тихо на береге просторном,
Незнамом и неизбежном,
За огненно-хладной рекой.

А эти мерцања, шептанья,
В развеянном утреннем сне,
А медленное созреванье
Жемчужины – там, в глубине,
А зыбкое... будто свеченье
Ещё не рождённых стихов,
Откуда не знаешь ни слова,

А трель, что звучит в удаленны
Уже запредельных верхов?

Как холодно! Выйдя из леса,
Дорога восходит на холм.
Смотри, золотая завеса
Колеблема призраком волн.
Там вечность и сила сокрыты,
Далёкому гулу внемли –
Там души живут без покрова,
А перстъ не нужна и забыта
Под комьями мёртвой земли.

* * *

Весь день лил дождь. Набухший влагой лес
Не защищал уже своею ржавой крышей
От струй воды. И вечер подходил. Ему наперерез
Из леса путник вышел.
Скат холма спускался к озеру. За ним
Над низким берегом и дальше, дальше к небу,
Сливавшемуся потемневшим краем с окончаньем
Леса, блуждали волны из листвы и хвои.
Казалось, только озером одним
И жил тревожный лес. И где-то в стороне был
Ненужный дождь. А озеро, в молчанье,
Тонуло в серой мгле. И ветер, воя,
Оплакивал его.

Постой! Постой! Опять один я остаюсь во тьме.
Что буду делать я под этим мрачным сводом
Беззвёздной ночи? Разве ничего
Ты не оставишь мне?
И, откликом природы,
Последний луч
Пробрался краешком нависших чёрных туч.
И осень вспыхнула. И путнику открылось,
Как озеро глубокой синевой
Ласкало лес, стоящий, сам не свой,
Закрыв глаза, как будто счастье снилось.

* * *

Волшебными мехами
Раздутый до небес,
Пожар идёт верхами,
Горит сосновый лес.

Увидишь ты, мгновенно
Под соснами промчась,
Как необыкновенно
На свете в этот час.

Усыпаны огнями
Древесные верхи,
Но тропы под ветвями
Прохладны и тихи.

Тебя огни не тронут,
Над головой пройдут.
То души мёртвых в кронах
Свой хоровод ведут.

И вещим сновиденьем
Горит волшебный свод.
Сегодня пополненье
Встречает хоровод.

* * *

К той золотинке звёздной пыли
Мгновенной ящеркой сверкни,
Потом помедленней (проплыли
Ночные облака, огни...),
И буднично, обыкновенно,
В мой сон, как в комнату, войдя
(С чуть слышным шорохом застенным
Иль с первым шелестом дождя)
И встав полуразмытой тенью,
Шепни, не подымая глаз:
Ты вымолил своё прощенье
В последний раз.

* * *

Где душа в этот миг? Всё ли в теле живом?
Если так, что за лица во тьме проплывают?
Я стою на пустынном мосту Биржевом,
Заглядевшись на окна трамвая.

Вот на Кронверкский он или на острова
Повернёт за мостом и уже безвозвратно
Растворится в ночи, но вступает в права
Сновиденья закон непонятный.

Озарённая комната там, за стеклом,
И весёлые – я их и помню такими –
Две семьи собрались за овальным столом,
Дверь открою, войду – и я с ними.

А для них ни рассеянья нет, ни потерь,
Где им знать, что во тьме заоконной таится
И за мною ворвётся сейчас в эту дверь,
Если снящеся – вдруг не снится.

Нет! Очнусь я, в потёмках домой побреду
Вслед за тающими огоньками трамвая.
На пороге рукой по глазам проведу,
Ту же комнату не узнавая.

Вспыхнет свет. И зачем-то к окну подойдя,
Глядя в ночь, я пойму и уже не забуду –

Отделённый стеклом и завесой дождя,
Что-то зная, он смотрит оттуда.

* * *

From low to high doth dissolution climb
And sinks from high to low ...

Wordsworth

Распад все уравняет – горы и глубины,
Бормочет маятник – как тать в нощи, как тать.
О, время русское! Есть над твоей трясиной
Из двух соломинок таинственная гать –

Твой каждый миг, как шум от стаи журавлиной,
Оплакивать вослед и прошлого искать.
В сомненье – те же ли шуршащие вершины? –
Близ трёх знакомых сосен снова проскакать.

И в час отчаянья, средь ночи без рассвета
Надежду сохраним. Забытого сонета
Обетованьем вспыхнет краешек страны,

Куда войдем навек. И тени, молчаливо
Покрывшие весь мир, не будут нам страшны –
Уже мы далеко в сиянии разлива.

* * *

За далёким лесом,
За широким плёсом,
Под шатром небесным,
Над юдолью слёзной,

Утром ли хрустальным
Иль в ночи безлунной
Светлый ли, печальный,
Духовой иль струнный,

Или просто голос
Над моей могилой,
Под ольхою голой –
Вот и я, мой милый,

Я тебя услышу,
Полыхнёт зарница,
Ливень смочит крышу
И пригнёт пшеницу,

Будет в каждой капле
Образ твой, вкраплённый
Золотою цаплей
В небосклон червлёный.

* * *

Уходит прочь последний день зимы.
Все ярче светят звёзды Ориона,
И Сириус у края небосклона
Уже поднялся из восточной тьмы.

Вольно ж ему. Но не свободны мы.
Весной сильней к себе нас тянет лоно
Земли-Деметры и земли-тюрьмы.
Рождённый смертен. Нет верней закона.

Я Кай, я человек. И я живу.
Но смысла мало в плоском силлогизме.
Я этой ночью грежу наяву,

Себя я вижу словно в чудной призме –
Душа лучится, нет на ней пелён,
И каждый луч в бессмертье устремлён!

* * *

I

Твой поезд отошёл. Четыре огонька,
Растаяв в летних сумерках, уплыли.
Вновь забурлила пёстрая река
Людских голов, вещей, вокзальной пыли.
Пловец из худших, ей наперекор
Задумав плыть, стоит в недоуменьи:
Ведь коль в любви – неслыханный простор,
То, значит, расставанье – заточенье.
И он отныне узник, не пловец.
Осмысливая это превращенье,
Вокзал гудел, как улей. Наконец
На улице включили освещенье.
И новый свет сказал: молчи, душа, молчи!
Недолго ждать, уже гремят ключи.

II

Хотя в твоих глазах горит печальный свет,
И ветер октября, ещё листву терзая,
Уже сдувает снег, но бирюзовый цвет
Высоких куполов и пери вместе с раем
Во мне всё живы ... Боже правый, нет,
Я ворожу, разлук не предрекая!

Пусть время года – инструмент. Квартет
В альте осеннем верность обретает.

.....

Ещё другой строки начало не родилось,
Но ты уже мне вместе с ней приснилась –
Чем глубже осень, тем светлее сны ...
Мы в четырех стенах, и стонет в поле выюга.
Я знаю: стены нам покажутся тесны,
Но даже выйдя в ночь, и в ней найдём друга друга.

III

Вновь солнце показалось после зимней спячки,
И близко уж просторная весна,
И скоро станет комната тесна
Надеждам, сборам, спорам, их горячке ...

Нет, нет! Теперь уж всё иначе,
Как снега пласт обрушился с ветвей –
Легко и страшно стало. Бьётся память, плачет,
Замки крепки у запертых дверей.
– Безумная, оставь, зачем он, прочь скорей
От мира прошлого, он ничего не значит ...

Не слушает, и плечики дрожат ...
– На поле том давно последний колос сжат,
Сейчас пахнёт весной, цветеньем, окна распахни ...

Но там мороз один. И пусты наши дни.

* * *

Илья-пророк, под вечер бороздя
Повозкой небо, метил в нас октавой,
Гроза над нами шелестом дождя
Накрыла дом, весь город многоглавый,
И пьяных молний шествие, бредя,
То слева объявлялось вдруг, то справа,
И гром, гремя, был как разрыв холста,
Что тёмен, стар, и даль за ним чиста.

Гроза прошла. Утихнул буйный дух.
Ночь белая других ночей дремотней.
Сегодня снова тополиный пух
Взмывает в небо, кружит в подворотне.
И вслед за ним опоры ищет слух –
Вверху, внизу. А музыка не глухнет.
И наполняют землю голоса,
И сотканы из звуков небеса.

* * *

Сырой туман сгустился к Рождеству,
Укрыты ясли млечным покрывалом.
И снег, растаяв, прелую листву
Вдруг обнажил. Зимы как не бывало.

Пусть будущее сродно божеству,
Пусть их рожденью явность не пристала,
Но пелена с прозревших глаз упала,
И прошлое я вижу наяву.

И ты опять стоишь передо мною,
И у меня кружится голова
Пред новой, небывалой высотою,

А над тобой лучится синева,
И я тебя на этом свете стою,
И нахожу я лучшие слова.

* * *

Ах, вот как, и вы в той стране побывали,
Когда до захода остался лишь миг,
И в лавке старьёвщика, в пыльном развале
Напали на россыпь чудеснейших книг.
Вы клинопись хрупких дощечек читали
И трогали нити с буграми узлов,
Папирус держали, где птицы в запале
Сплясали канкан Шампольону назло.
Мертвы эти знаки, как смыслом облечь их?
А вам все темноты ясны в языках.
Но солнце спешило. Был короток вечер.
Одна за одной книги меркли в руках.

Ах, нелюбопытны мы, что нам до майя?
Ушло навсегда, что и тем только снилось.
В строке без пробелов мелькнуло, сверкая:
«А древо с тугою к земли преклонилось».
Я знаю: стемнело. Ужель обитают
Все эти виденья – за краем земного,
И всё еще в дальних туманах витает
Тот сон, где явилось нам Первое Слово?
А может, и этот еще нам приснится,
Увидим, заветную грань перейдя,
Как в небе над степью бушуют зарницы,
И стрелы пронзают завесу дождя.

РУССКИЙ КВАДРАТ

1

Как гнетёт слепота небосклона,
Инструментом чудесного тона
Человек лишь под синью звучит,
В непогоду и флейта урчит
Столь фальшиво, неверно, утробно,
Список бед составляя подробный,
Что и смерть, эти звуки губя,
Только дальше запрячет тебя.
Вместе с ней опускаясь в загробный
Мир бесцветный, беззвучный, беззлобный,

Не услышишь ни флейты, ни стона
Расставания ясения с кроной.
Под корой та душа опочит,
Что в слиянье с *окрайной* молчит.
Молча жить не желая, трубя
О *мороке*, погубим себя.

2

А весна – она будет лишь завтра,
Нынче – выстрел безумного Крафта,
Не увидишь родного ландшафта,
В воды смерти вступив акванавтом.
Мир, исчезнув в тумане и дыме,
Тайн не выдаст устами немыми.
Небо тучами скрыто слепыми,
И глазницами смотрит пустыми
Череп немца и дырки зиянье
Означает немое слиянье
В этом чёрном глубоком молчанье
Тайны тихой презревших сиянье ...
Под корой я всё жив, под корою!
Где во имя моё встанут трое,
Лёд разбив, им явлюсь и открою
Смысл искусства и мир в вечном строе!

3

Ну а тем, неземным, беззаконным,
Неприкаянным и обречённым,

Тем, покинутым, сладость явленья
Не узнавшим – стихам нерождённым,
Им метаться во тьме средостенья,
Не пробиться созвучьям сквозь тленье,
Теме смерти в тональности чёрной
Переход запрещён в просветленье.
Где-то звуки весеннего горна,
Где-то там, подо льдами, упорно
Стену точит живая вода
И пробьёт и польёт животворно,
И по-новому вспыхнет звезда,
Но другие воспрянут тогда.
Ключ потерян. Забыт заключённый.
К бытию путь закрыт навсегда!

4

Вот навис над страной бездыханной,
Валом дроби взнесён барабанной
Марш разумных, свободных, нашедших
Путь в тумане средь бездн сумасшедших,
И идущих дорогою странной,
Расширяющейся неустанно,
Где-то в тёмном далёком прошедшем
Потерявших собратьев, забредших
В тот же край, но с другой стороны.
Смертью дышат и смертью полны
Эти толпы, хоть долги их сроки,
Их пророки, наверно, честны,

А *другие* во тьме одиноки,
Но горящие светятся строки,
И сбываются веющие сны.
К небу пламя встаёт на Востоке.

ЗАНОСЧИВЫЕ ЯМБЫ

Оставь, не тронь пустой страницы,
Ты будешь смят в стремнине слов
Сопротивлением традиций,
Чужих ночей, чужих голов.

В четырёхстопном ямбе стёртом
Каких ещё открытий ждать?
И рифму на стопе четвёртой
Легко на первой угадать.

И долго, долго – сладок, вкрадчив –
Мог голосок ещё шептать.
Но я сказал – уйди, отгадчик,
Не постыжает благодать.

Не в прихотливости стечений
Ищу посылов и опор,
Не мнимостью иных значений
Я распаляю свой задор –

Но звуком, средь строфы распятым,
Где пара рифм, как пара рук,
Я откликаюсь, чуткий атом,
На дальний рокот звёздных мук.

* * *

Прозрачны трели и воздушны
Запинки пауз ... Налегке
Пойдём за музыкой, послушны
Себастиановой руке.
Когда б мы верили так детски
(Ведь – *если б мы не дети были –*
Двойной ошибки груз. Забыли
Английский, где уж там немецкий),
Тогда бы лес темнейших правил
Наследуемости голосов
(Следов чужих? – Лови! – Заставил
Звучать, и – с горки колесо?)
Недосягаемая лёгкость,
Свобода рук, свобода плеч –
(Тут краска зависти поблёкла,
Что ж нетерпение беречь?)
Всё стало б ясно. На ладони
Узор причудлив у Творца.
Читай. Следи, куда Он клонит.
И не угадывай конца.

* * *

Когда поймём мы смыслы расстояний?
Тревожим приближением своим
Обманный мир прекрасных изваяний,
Изверились – покров ему кроим,
В сердцах кромсая ткань воспоминаний,
Немногим данных – меньше, чем двоим.

Что ж, ныне в путь. И, стоя на площадке,
У двери поезда, пронзающего лес,
И стук колёс, и запах дымно-сладкий,
И сны о счастии *въ долинѣ чудной слезъ*
Возьму с собою – хватит на заплатки
Прорехам памяти, в которых сам исчез.

D Es C H

Ангел низвергнутый (звукам открытый,
Ими колеблемый...) в севера мглу,
Тенью змеиною – не под копытом,
А над дрожащею мышью в углу.

Был кавардак, каждый пробовал голос...
Взмаху неведомой властной руки
Всё покорилось. Как стрелы на полюс
В мрак устремилися птичьи полки.

Чёрные полы безумных евреев,
Лица, как мел, локти, сгибы колен
Странно недвижны. Смычки лишь, зверея,
Струны терзают. И страшен их крен.

Ад побеждает. Невидимый кто-то
Тенью вступает в пространство стиха.
Пляшут над бездной зловещие ноты,
Кольца змеиные D Es C H.

* * *

1

В чёрном пальто человечек сутулый
В парке один. Как весною пахнуло!
Небо в разрывах синей и синей.
Только молчанье всего сильней.

Речи, как капли по листьям, звучали,
Радости близки, далёки печали
Были. Но встали теперь за спиной
Странной, недвижной, безмолвной стеной.

Так исчезаем неслышно. Темнеет.
Вот лишь виднеется точка в аллее.
Только о том, где теряется путь,
Нам не узнатъ, не сказать, не вздохнуть.

Жизнь прошла. Я не был счастлив.
 Многое завоевав,
 Рву добытое на части –
 Всё слова, слова, слова ...
 Но недвижна синева.

Стрелка круг свой обегает.
 К ней ли чувствовать вражду?
 Есть ли Время – я не знаю,
 Есть ли Смерть – и то не знаю,
 Ничего не понимаю,
 Только детство вспоминаю
 И оттуда зова жду.

WARUM?

Сгущаются сумерки, воздух лепечет,
 Что сон неглубок, за покровом его
 Все тайны так близки, сейчас, в этот вечер
 Узнаю наверно – зачем, отчего?

А там средь теней, этих первых зелёных
 Листочков, приникших к суровой коре,
 Шуметь и желтеть и лететь обречённых,
 А прежде все утра встречать в серебре,

Мой тайный советчик настойчиво шепчет,
В верхушках деревьев сокрывающийся дух,
Невнятцу милую, воздуха легче,
Надеждой встревожив открывшийся слух.

Наполнив волшебными звуками чащу
Секрет свой на север уносит весна,
И нет разрешенья вопросам, звучащим
Над лёгкою дымкой немецкого сна.

* * *

Учил он: «Отвернись к стене,
Глаза свои смежи,
С самим собой наедине
Яснее миражи –

Отполыхал недолгий жар,
Чернее тьма с утра,
Кроваво-красный скрыла шар
Крысиная нора.

Сухая пашня лишена
Последнего зерна,
И глухнет даже тишина
И только смерть верна.

Поэт! Проклятое жерло
Разинув чёрный зев,
Пожрёт и дребедень Шарло
И твой святой напев».

Но тут его оборвала
Всемоющая рука.
И за собою увела –
Туда, за облака.

* * *

Маслиной зеленеющей в Твоём дому
Живу и радуюсь, на милость уповая.
Чем сильный хвалится? Себе лишь самому
Накличет гибель он. Ведь бездна гробовая
Развернется пред ним. Падёт он сокрушён,
Прочь из земли живых исторгнется он с корнем.
Не зло ли над добром и ложь над правдой он
Поставил дерзостно? Не дольнее ль над горним?
И скажет праведный: Не в Боге полагал
Свою он крепость, нет! – но в множестве богатства,
Жилище он своё злодейством укреплял,
Оттачивал язык в искусстве святотатства.
То, что соделал Ты, я буду прославлять
Во веки вечные. На имя пресвятое,
На милость Господа я буду уповать.
И знаю я – они всегда со мною.

* * *

Как волной набегающей
Вдруг пловца закачало.
Это взглядом сияющим
Ты на мой отвечала.

Только счастье отхлынуло.
Муки – не перемелешь.
То, что было и минуло,
Возвращалось во сне лишь.

Там заклятие странное
Было неодолимо –
И, сирень безуханная,
Всё глядела ты мимо.

Будто тайну хрустальную
От меня охраняла –
Счастье первоначальное
В лад со смертью звучало.

* * *

Хоть год-другой иль только лишь мгновенье
Еще побыть бы на земле живых.
Верни мне душу в струях дождевых.

Но если всё ж не выйдет мне прощенья –
Сухой песок в распущенной горсти
Чуть подержи и руку опусти.

* * *

Эти бассенные, чужие,
То туманные, то ледяные,
Осыпающиеся леса,
И невнятные, словно хмельные,
То как будто свои, то иные,
Незнакомые голоса –

Чьи? Древесного ли народа,
Или звёздного хоровода,
Замерзающего в вышине,
Всё пророчат мне злую свободу,
Безнадёжную, как природа,
Затихающая в глубине.

* * *

Распутываю перепутья,
Шарахаюсь от химер.
Тут – почки на вербных прутьях,
Там – хлебниковский промер.
Был берег совсем неухожен –
Так ... заросли ивняка
(На лес индейский похожи).
И пахла мазутом река.
Чахоточною весною
Траве кто рasti велит
Зеленоватой каймою
Вдоль трещин гранитных плит?
Потусторонние токи
Текут с бастионов сырых,
Я вырос вблизи протоки
Повешенных пятерых.
Ветер фонарь качает,
Мост деревянный скрипит.
Чу!.. Виселица отвечает.
В облаке ангел спит.

* * *

Когда узнаю – *что* это было,
Зайду за холм.
Слова поблёкли, и речь постыла.
Неверья полн.

Коль будет время – не время вовсе,
Зачем в нём песни?
Гадай, не ведай. Всю жизнЬ готовься.
Умри. Воскресни.
Ни с чем останется тьма ночная.
Дело простое.
Спроси берёзу. Она ль не знает,
Во поле стоя?
К коре приникну. Как всё решится?
Сомненьем мучим.
Как будто шепчет: всё, всё свершится
Веленьем щучьим.

* * *

Язык их изощрён. Язвительное слово.
Уж с уст их сорвалось и поразить готово.
А праведный стоит, открытый всем ветрам,
И выются вокруг него и тайный ищут срам.
Укрой меня, Господь. Услыши мои молитвы.
Спаси и сохрани от низкой их ловитвы.
До жизни внутренней, до сердца глубины
Изыскивают путь. Падут, уязвлены
Своим же языком, нечистым и лукавым.
Постигнет дерзостных Твоя, Господь, расправа.
И убоятся все, увидев Божий гнев,
И возвестят о нём, Твой суд уразумев.

* * *

Последние гроши – и все ей на потребу...
Немного старых снов, совсем немного неба,
Лишь маленький клочок с трепещущей звездой.
Ночь ветрена, влажна... О, Геба, Геба, Геба,
Твой кубок наклонён. Он мёртвою водой
Наполнен до краев. Ревнивая бесстрастна –
Где мириады рук вздымалися напрасно,
Безмолвствует лесов обугленный орган.
А небо навсегда, не изменяясь, ясно.
И нет в нём ни звезды. Лишь месяц – ятаган.

* * *

«Час от часу пустее свет.
Пустей дорога перед нами».
Всё отчужденней бледный свет
На западе, за облаками.
Последняя свобода. Так.
А всё тоска не отпускает.
И в сердце выспренний дурак
Молчит и кровью истекает.

* * *

*От западных морей до самых врат восточных
Немного мудрецов средь благ прямых и прочных
Умеют различить хамелеона зла.
Сомнительный мудрец, я не из их числа.
Под сводами небес ступаю я без страха.
Не все на свете нам отрава или плаха.
А что до старости... Закат над морем ал.
И непереведён остался Ювенал.*

* * *

Ужасный рык безумно-гулкий
Наполнил страшным старый сад,
И, содрогаясь, в переулки
Бежит прохожий наугад.
Всё тот же звук ему вдогонку,
Он скрыться рад и ах как звонко,
Хохотет вслед – каналья пьян! –
С забора племя обезьян.
Бродя по Кронверкскому парку,
В ночи глухой слыхали ль вы,
Как горестно вздыхают львы
В темнице о саванне жаркой?
Снаружи звякают ключи.
Молчи, душа моя, молчи!

ФУТБОЛ В КЕМБРИДЖЕ

Я узнаю и мост над узким Кэмом,
И вишню, всю в цвету, в нагом еще саду,
Здесь дух *немый* и ясная поэма
Соседствуют в таинственном ладу.

Как солнце плачет над своей неволей!
И всё твердит: о нет, не насмотрюсь.
И мяч, взмывая ввысь над дальним полем,
Как будто вторит: нет, не опущусь.

И тёплый воздух светлым покрывалом
Окутал шпили, птиц, окрестные поля...
Угрюмо, равнодушно, шестипало
Поймала мяч холодная земля.

ФОНТАН ПИРАМИДА (ПЕТЕРГОФ)

В аллеях тень и свет,
А здесь лишь только свет.
Как дышащий хрусталь,
Фонтан пирамидальный.
Ему и горя нет,
Ему и смерти нет –
Сладкоречивый враль,
От века беспечальный.

Вода себе течёт,
А время не течёт,
Заслушалось... Но вдруг
Сын засмеялся звонко.
Опять всё тот же чёт!
Всегда всё тот же чёт!
Поток, окончив круг,
Уходит в тьму, в воронку.

Вот – нелегко забыть,
А надо всё забыть.
Чтоб справиться ты мог
С водоворотом адским,
Тверди: легко не быть,
Да, так легко не быть,
Растаешь, как дымок
Над берегом кронштадтским.

* * *

Ты след запутал, превзойдя лисиц,
Бессильным словом память беспокоя.
Здесь, близко... В сотый раз рукою
Коснись потрёпанных страниц.
Ресниц. Зарниц. Сияньем лиц
Живых ... и смертных дум рекою
Влеком, забудешься, шагнёшь за пелену,
Где музыка твоя измаялась в плену.

КРЫМ

Вода имеет вкус, и цвет, и запах.
И берег мнёт её в скалистых лапах.
И свежий ветер кипарис согнуть не может –
Качает только. И луну качает тоже.

* * *

Горные травы по пояс.
День уж погас. Отдохни.
Всё пережив, успокоясь,
Дальние светят огни.
Где-то в звучащем пространстве
Тихий нам пролит свет –
Верный залог постоянства
Этих и будущих лет.

* * *

Как мириады черепов –
Сухие листья.
Чешуйки крыл, обрывки снов,
Глазницы, кисти.
Как будто кровью плачет клён,
Но без мученья,

И воздух неодушевлён,
И в нём – свеченье.
И пусть он холоден и пуст,
Есть в смерти прелесть.
И всё слышнее странный хруст,
Зловещий шелест.

ПЕТЕРБУРГ

I

Знаменитая игла
(Холод в вышних, верно, лют)
Вся блестит. Луна светла.
Души в воздухе снуют.

Похоронена во льду
Спит река. Вдали умолк
Шум трамвая. Я иду-у!
Ветер воет или волк?

А! теперь ты построжел,
Грязно-жёлтый городок.
Знаешь, ты похорошел,
Знаешь, дай лишь только срок...

Нет! окончена судьба.
Поищи другой приют.

Ночь темна. Молчат гроба.
Души в воздухе снуют.

II

О, Запад, ветер тихо веющий
О недоступных миражах,
Высоких шпилях розовеющих,
Вечернем солнце в витражах,

О кораблях в Гаагской гавани,
Да мало ли ещё о чём –
Спят непробудно в снежном саване,
В обнимку жертва с палачом.

И все же расширять проталину,
Пусть непролазна будет грязь,
Играй, крепчая, на развалинах,
Как хочешь, плача иль смеясь.

III

Ветры восточные с озера Белого,
Из-за Урала и Новой Земли
В город ворвались и вмиг, оробелого,
Снегом колючим его замели.

Это надолго. Зима неуступчива.
Что, европеец, как будто притих?

Это Россия, Россия по Тютчеву,
Дела ей мало до бредней твоих.

Город завыл колоннадами-лютнями,
А над рекой уже стелется пар.
Что, не продрог ты? Покойно ль? Уютно ли?
Ну-ка к стене обернись, Валтасар!

Воздуха нет обожжённому лёгкому,
Пальцы в перчаточках вроде колод.
Думал прожить по-парижски, по-лёгкому?
Крабом заморожен в сияющий лед.

СЕДЬМОЕ МАЯ

Я помню ночь в земном раю,
Индийских лилий шёпот сладкий,
И смерть, и жизнь забыв свою,
Я лёг у камня, без палатки.

Под шум потока, в полусне,
Усталый, шалый от блаженства,
Я грезил о прошедшем дне,
Забыв его несовершенство.

Шли яки, колокольчик пел,
Латунный – глухо, медный – звонко,

Круглоголов и полнотел,
За ними лама вел козлёнка.

Но что-то оборвалось вдруг.
Паденье, мрак, опять паденье.
И не поднять свинцовых рук,
И страшно камня приближенье.

Назавтра всё я повторял,
Не понимая, что же значит
Строка святая: «Просиял
И плачет, уходя, и плачет...»

* * *

Смеркается. В сыром предместье ада,
Замедлив шаг, отыскиваю путь.
А! всё равно, вон тропка вдоль ограды,
Сперва по ней, а там уж как-нибудь...
Всё польхает. После снегопада
Взыграло солнце. Глаз не разомкнуть.

Из-под ресниц, в слезинке преломлённый,
Прорвался луч, рассыпался, и свет
Теперь внутри. Прозрачный, просветлённый,
Я невесом, я счастлив... Только нет –
Всё помутнело. Где я? Нерождённый
Себя не сыщет. Кто он, без примет?

*На миг один отпущеный тюрьмою
За поле мёртвое, лежащее в снегу,
В ночном саду, кругом стеснённом тьмою,
На ветреном цветущем берегу,
Я милостью её глухонемою
Дышу и надышаться не могу.*

* * *

И Иван, и Лука, и Матвей –
Без просвета, навек, безнадёжно.
В глубину, в глухоту, всё мертвей,
И иное уже невозможно.

И Матвей, и Лука, и Иван –
Так, вышагивая осторожно,
Заблудился во тьме караван,
И иное уже невозможно.

И Матвей, и Иван, и Лука:
И легко, и немного тревожно,
Ветер, ночь, шорох крыл, облака,
И иное уже невозможно.

KV 421

... il me semblait que j'étais moi-même ce dont
parlait l'ouvrage: une église, un quatuor, ...

То облачко набегающее,
То алый водоворот.
Пусть луч, в темноте догорающий,
В низах у альта замрёт,

И с грацией угловатою
Засветится менуэт,
Распахнутою, крылатою
Мечтою, которой нет.

В негорестном расставании
Как лист последний кружим,
Как дальнее воспоминание,
Неведом, непостижим,

Погаснешь и вспыхнешь заново,
Разгадки не утая –
Вселенная магелланова,
Я знаю: ты – это я.

ЧАСТЬ 2
ПОЭМЫ

СТРОФЫ ИОНЫ, ПРОРОКА ИЗ ГАФХЕФЕРА

I

Вниз к берегу, в город портовый,
Катилась тележка с уклона.
Бежать безоглядно готовый
К чертям на кулички Иона
Подумал: «Без Бога живи я,
Всё было бы мне посвободней.
Зачем мне идти в Ниневию?
Забуду я Слово Господне».
Он правил тележкой совсем неумело,
А ослик кричал, и тележка скрипела:
«Иона! Безумец! Безумец! Иона!»
Но скрипу тележки и воплям ослиным
Не внял он, охвачен желаньем единым –
Укрыться от Бога за край небосклона.

II

Иона отменно беспечен.
На пристань! Погрузка в разгаре.
– Идёте в Фарсис? – В этот вечер,
– А сколько возьмете? – Динарий,
Дешевле лишь вход в преисподню, –
Ответил как будто с усмешкой

Старик корабельщик со сходней.
– Плыту я! Не будем же мешкать!
Господь-Саваоф не прощает измены,
От кары не скрыться за край ойкумены.
С чуть слышным шипеньем «Несчастный! Несчастный!»
Волна разбивалась о камни причала.
Она уж не раз в глубине замечала
Того, с кем столкнётся беглец самовластный.

III

Иона заснул безмятежно
Лишь только отдали швартовы.
Валы, словно щепку, небрежно
Швыряли корабль трехмачтовый.
Их буйное столпотворенье
Иону во сне увлекало
На самые выси Творенья
И в бездну затем опускало.
Так руки блуждают по клавиатуре,
Прелюдия только – и море, и буря.
Но трубы органа дохнут ураганом,
Смешаются в хаосе струны, кимвалы
И поступью тяжкой девятого вала
Войдет пассакалия Левиафана.

IV

Вставай, незнакомец, мы тонем! –
Отчаянный крик капитана
Ворвался в каюту к Ионе
И дверь распахнул Урагану.
И тотчас беглец догадался,
Кто ждёт его, стоя снаружи,
И как мотылек заметался,
В ловушке себя обнаружив.
Но всё же решился – шатаясь со страху,
Поднялся на палубу, словно на плаху.
Там, глядя в морское разверстое лоно,
Толпились матросы. Гадали, в сомненье, –
Кто бурю накликал своим преступлением?
И бросили жребий. И пал на Иону.

V

И ринулись тут мореходы
К Ионе и справа и слева –
Скажи нам, откуда ты родом?
И чем небеса ты прогневал?
Несчастье несущий попутчик,
Каким ты отмечен проклятьем?
Убийца ты или лазутчик?
В чём вера твоя и занятья?
– Я верю в создавшего море и сушу,
Но дерзостно слово Его я нарушил.

Ослушаться вздумав приказа Господня,
Хотел убежать я от грозного Лика.
— Ты злое несчастье, безумец, накликал!
Мы все за тобою утонем сегодня!

VI

— Меня одного утопите,
Все беды тем самым рассеяв,
Но только скорей, не тяните!
— А как же закон Моисеев?
Последнего грешника даже
Губить мы напрасно не станем.
Сейчас мы на весла наляжем
И к берегу Крита пристанем!
Взъярилася буря — упрямым всё мало! —
И тотчас волною все весла сломала.
И участи худшей тогда избегая,
Матросы решились — со страхом во взоре
Схватили Иону и бросили в море,
На Господа грех этот перелагая.

.....

VII, VIII

Со дна бесконечной воронки
Сознанье его возвращалось.

Был послан луч света вдогонку,
И небытие освещалось.
Во тьме проступали предметы,
Но зыбкие их очертанья
Едва сохраняли приметы
Оставленного мирозданья.
Вверху колыхались нависшие своды,
Неясные тени вели хороводы,
То стены сближались, то вновь расходились,
То вдруг приплывали немые уродцы,
Затем исчезали во мраке колодцев,
И только глаза их оттуда светились.

IX

Был голос Ионе. Но слово
Господне отвергнул изменник
И спрятанный в чреве китовом,
Ко дну отправляется пленник.
На воле, в краю поднебесном,
И шорохом был он пугаем.
Во чреве и душно, и тесно,
Зато он тут – недосягаем.
Иона был толщею водной придавлен,
И Богом, казалось, навеки оставлен.
Во тьме и зловонье Иона томится.
Иона, ты слышишь дыханье распада?
Китовое чрево – преддверие ада,
Другому назначено глубже спуститься.

X

Все рыбы объяты тоскою.
Смущают их странные стоны.
Обвитый травою морскою,
Из бездны взывает Иона:
«Ты вверг меня в эти глубины,
Текут надо мной Твои воды.
Навеки Тобой я отринут.
Сомкнулись тяжёлые своды.
У гор основанья, под каменной твердью
Я вспомнил Тебя и прошу милосердья.
Услышишь меня Ты из горного града,
Спасенье мое у Тебя одного лишь,
Падет ли хоть волос, коль Ты не позволишь?
Ты выведешь душу из этого ада».

XI

И с верой пришло избавленье,
И Бог отпустил его душу.
И было Киту повеленье
Исторгнуть Иону на сушу.
И воды из Левиафана
Изверглись на горы Хеврона
И склынули вниз к Иордану,
И вышел на волю Иона.
И сон охватил его в роще масличной,

И голос Господний он слышал вторично:
Пусть слово твоё Ниневию остынет,
Иди, прокричи там на стогнах и с кровель:
«Сгущаются запахи гари и крови,
Двух лун не пройдёт – Ниневии не будет!»

.....

XII, XIII

– Послушайте, сорокового
Никто не увидит заката, –
С опаской шепнул он, но Слово
Ударило с силой набата.
– Опомнитесь, в пропасть вас тянет, –
И улицы вдруг забурлили.
Поверили ниневитяне
И тотчас же пост объявили.
Сам царь Ниневии оделся во вратье,
В надежде отсрочить приход лихолетья.
В обещанный день Вседержитель, увида,
Что город дрожит в ожидании казни,
Что грешник последний стал богообязнен,
Свою Ниневию ничем не обидел.

XIV

Иона же, о посрамленье
Пророчества всё сокрушаясь,

Но Господа долготерпенье
Испытывать вновь – не решаясь,
О смерти просил лишь. И снова
Но с силой удесятерённой
Просил, наподобье Иова.
Господь же сказал удивлённо:
«Ужели тебя огорчает так сильно,
Зачем не разрушил я город обильный?»
Иона от слов этих плача всё пуще,
Из города вышел дорогой восточной
И сел у арыка с водою проточной,
Под сводом дырявым заброшенной кущи.

.....

Киты и пророчества – что за причуды!
Довольно! Сейчас совершается чудо.
Вот дерево выросло рядом с Ионой.
Гляди! Зеленеет прохладная крона.
Безумный! Увидеть – и не удивиться.
Ты слышишь? Вверху заливаются птицы.
Их гнёзда укрылись от солнца ветвями,
В коре поселились жуки с муравьями
И даже подрались уже за личинку,
Но всё ж помирились и тащат тычинку.
И бабочки пляшут, и пчёлы летают,
И с тенями светлые пятна играют.
И счастье тогда охватило пророка.
Но Бог, если учит, то учит жестоко:

.....

Засохло! Засохло! В мгновение ока!
Господь же сказал в завершенье урока:

XV

Жалеешь о дереве? Странно.
Твоими ль возникло трудами,
Красиво и благоуханно?
С ним жалостлив, а с городами?
Склонила покорную выю
Ассирии гордой столицы.
Рубить ли? Моя Ниневия,
Тебе ли с пустынею слиться?
Скажи мне, Иона, достойны ли гнева
И те, кто не знает, где право и лево? –
Сто тысяч младенцев – ты слышишь их крики?
Разрушу ли маленький домик поэта?
Разрушу ли храмы, что камнем одеты?
Иона! Не трону я город великий!

Примечание: динарий, три мачты и арык – на совести автора.

КАВКАЗСКИЕ СТРОФЫ

I

Шат-гора стоит всё там же,
Тот же небосклон над ней.
Лунный диск опять оранжев
И ему тринадцать дней.
Разве апельсин он? – Пеплом
Всех земных веков покрыт,
На Кавказе нынче пекло,
От крови хребты мокры.
Красный отражает в сером
Трижды проклятый цитрус,
Еле брезжит, лжёт не в меру,
И неверные размеры
Получают лев и трус.
Тяжек ночью смерти груз.

II

Для тебя я, в это лето
(Снова полное угроз –
Вспомним юного поэта,
Хоть и стих тот в землю врос),
Пусть желанье и нелепо,
Пусть надменный слышен смех,

Делаю на память слепок
С этих гор, видавших всех ...
Он тесниной шёл Дарьяла,
За оказией, в Тифлис,
Я за ним – лавина смяла,
Снежным тигром изорвала,
Вместе с дерзким спрыгнув вниз.
Что, поэма, поплелись?

III

Но! Пошла! И я проснулся
(Спи, читатель, дальше спи),
Встрепенулся, оглянулся,
Ахнул – посреди степи ...
– Что? (Не нарушая лени,
Спросишь ты, о критик мой.)
Горы? Тоже мне, Оленин,
Кстати, раннею весной
Было то, а ты о лете
Собирался говорить,
О каком-то там поэте ...
– Должен я тебе заметить,
Что ты рвёшь рассказа нить.
Продолжаю, так и быть.

IV

Встрепенулся, оглянулся –
Не увидел ничего.
Дождь. Туман земли коснулся.
Дьявол! Что за колдовство!
Я летел сюда с надеждой
(И меня влечет хорей,
Где я слышал это прежде? –
Свет горячий, грей же, грей!),
Что, как только приземлюсь я
Мир запахнет новизной,
Ждал побед, немного труся, –
Пеною на сладком муссе
Сразу план накрылся мой.
(Пене той Верлен виной.)

V

Едем дальше? Да, пожалуй.
Фары раздвигают тьму,
Чтоб она не помешала
Течь рассказу моему.
Ночь почти без сна. И утро
На скамье, среди вещей,
В позе – что там Камасутра,
Как на жёрдочеке Кощей!
Но уже устал автобус
Ждать попутчиков. Вперёд!

Двигая кавказский опус,
Я вращаю синий глобус,
Птицу мысли режу влёт,
И дивуется народ.

VI

Стой, тут нужно отступленье.
– Как, опять? В который раз,
Только приступивши к пенью,
Оборвал, мороча нас.
– О строфе, – Не хватит нервов! –
– Строк четырнадцать, – Старо! –
– Два четверостишья первых,
Чтобы разогнать перо.
Шесть же строк ... – Как раз топиться!
Тянут жернова на дно
Рифм тройных. Как мог решиться?
И в кошмаре не приснится!
– Пусть! Но с ними заодно
Уплыву я всё равно!

VII

Вот Баксан. Теченье быстро.
Вниз ему, а нам наверх.
Вот баран стоит пушистый
С умной мыслью в голове.

Вот красавица балкарка
В белом платье, видном всем.
Ты мне нравишься, дикарка.
Вот пропала насовсем.
Скачут с берега на берег
Провода, столбы опор,
Скачет бурный дикий Тerek,
Тыфу, Баксан! Но тож холерик,
Катит к морю всякий сор
От подножий белых гор.

VIII

Всё, доехал! Дождик мелкий,
Зонт, раскрытый второпях,
Одеяла и тарелки –
Скукой веет в тех степях.
Впрочем, есть и развлеченья
По дороге вверх гулять,
Речки бурному теченью
Сквозь туман с моста внимать,
Слушать перебор гитарный,
А неплох ей-богу бард! –
Текст кошерный, нет, кошмарный,
Мелос лагерный, поднарный –
В нем кошачий длится март,
Карты, юшка, ножик, фарт.

IX

Знали мы певцов со славой.
Помнишь, с голой головой,
Рвал рубаху бас гнусавый –
Я, ребята, в доску свой.
Рядом тенор сладковатый,
Он утончен, нам не брат,
Он торгует сладкой ватой
И собою – «Ах, Арбат!»
Впрочем, что я обозлился?
Был вокруг народ простой,
Я и сам с ним тотчас слился,
Хоть и слуха не лишился,
Пел, и ноты песни той
Не блестали чистотой.

X

Кстати, если о тарелках –
Рядом щи хлебал чечен.
Скольких вышиб в перестрелке?
Иль попался, хищник, в плен?
Лет одиннадцать минуло
С той поры, кто б загадал?
Дверь открыл, вошёл со стулом,
После ложку передал.
Ах, любил я Пастернака
(В щах укроп предпочитал),

За него кидался в драку.
А сейчас забыл. Однако
Врать, пожалуй, я устал.
Да и дождик перестал.

XI

Мы на жёрдочке сидели,
Говоря о том, о сём,
Вроде о каком-то деле ...
Вот сейчас, постой, вздохнём ...
Что-то девушка сказала,
Чуть манерно, так, слегка,
Что-то слуху помешало,
Словно горсточку песка
Кинула судьба в окошко
(Клял ее и был не прав! –
Пусто было, глянь в лукошко,
Есть на донышке немножко,
Что ругать, не разобрав),
Музу звали – Муза Граф.

XII

Нет, постой с консерваторкой
Взбалмошной, не напирай,
Бунин ни при чем здесь, зорко
В имя глянь – увидишь рай.

Пусть звучит немного грубо
Для иных литавр раскат,
Но сыграют тему трубы,
Скрипки, флейты, и тоска
Вдруг отступит, и увижу
Снова снежные хребты,
На ковре из хвои рыжей
Дремлет лес, еще поближе –
Выступят из темноты
Две фигурки – я и ты.

XIII

Волейбол. Мы в мяч играем.
Рай для Сирина. А мне
Лишь мученье. Я у края,
Подаю. И, как во сне:
Раз! Удар! Точна подача
Нет, никто её не взял.
Два! Другая! Вновь удача.
Лучше и сыграть нельзя.
Ты смотрела. Вдохновенье
В первый раз меня вело.
Жаль, что только на мгновенье
Это недоразуменье.
Мне случайно повезло.
То судьба смеялась зла.

XIV

Мы выходим до рассвета.
В сумраке еще ночном,
Очертания предметов
Продолжающимся сном
Кажутся, чуть-чуть пугая.
Мы бредём себе гуськом.
Видишь, звёздочка мигает.
Вот – скатилась кувырком.
Сколько раз вдыхал железный
Этот воздух я в ночи,
Проходя под звёздной бездной,
С целью странной, бесполезной,
О которой ... Замолчи.
Вот пенсне, а вот ключи.

XV

Постепенно наполнялся
Звуками притихший лес.
Свет сквозь ветви пробивался
Утро «брало перевес».
Кто переложил сонеты
Столь нелепым языком?
Всё! Клянусь лучом рассвета
Никогда и ни о ком
Я не вспомню в этих строфах,
Даже тень их изгоню.

Хоть писали и неплохо,
Пусть живут в своих эпохах.
Прижиматься к их огню
Глупо по сто раз на дню.

XVI

Всё ущелье на ладони.
Широко глаза открыв,
Я сижу, как бог, на троне.
Трон – валун. Внизу – обрыв.
Выше чуть – ледник стекает,
Как стекло с гранитных плит,
Вдалеке Эльбрус сверкает.
Небывалый свет разлит
Над вершиною двуглавой,
Скрывшей пламя толщей льда,
За собой оставив право
Плюнуть раскалённой лавой
На больные города
И смести их навсегда!

XVII

Вечер. Тихо по ущелью
Поднимается туман.
Наверху царит веселье.
Смеха, шуток полон стан

Смелых воинов, взошедших
Утром прямо под ледник.
Речка катит сумасшедшее,
Заглушая дальний крик.
Где ты? К берегу спустилась?
Ох! И речки не видать!
Мгла над ней внизу сгустилась.
Всё ущелье тьмой покрылось.
Где тебя теперь искать?
Что ж, осталось только ждать.

XVIII

Меж камней костры разложим.
Далеко видны огни.
Мы готовы, мы поможем!
Ну-ка голову пригни –
В лес нырнём и тропкой узкой
Сбоку кручу обежим,
Скачущим неровным спуском,
То знакомым, то чужим.
Вот просвет – к нему прыжками.
Чёрт! Не видно вновь ни зги.
Шарю впереди руками:
Это – ветка, это – камень.
Боже, сделать помоги
Вниз последние шаги!

XIX

Берег пуст. Была. Исчезла.
Мир теперь ненаселён.
Нет, давай рассудим трезво.
Где она? Ах, будь умён –
Знать, в тумане заплутала,
Ошибившися тропой.
В скалы бьёт водою талой
Речка в ярости слепой.
Чуть оступишься – и где ты?
Мысли скачут. Страх сильней.
Что-то зреет. По приметам
Струны важные задеты
Там, в ночи. Всё то же в ней.
Только стало холодней.

XX

Сном тяжёлым и неясным
Громоздятся горы льда.
В мире тесно и опасно.
Но туман ушел. Звезда
Показалась в небе чёрном,
А за нею сто других.
В мире сделалось просторно.
Он спокоен, ясен, тих.
Возвратилась. Все на месте.
Смотрят вниз Мицар, Алькор.

Конь и всадник снова вместе,
Принесли они известье,
Прискакав во весь опор:
Всё иное с этих пор!

XXI

Той холодной ночью долго
Я заснуть не мог. Смотрел
На движенье звёздной Волги,
На паденье синих стрел.
С юга чёрным силуэтом
Закрывали небосклон
Горы снежные. Поэты
Горы слов со всех сторон
Присылали. Вереницу
Перебрал я голосов.
Валаамова ослица,
Нем я был. Но всё ж зеницы
Не смыкал я. И засов
Пал под утро, в пять часов.

XXII

Всё теряя, выцветает
Память. Я иду вперёд.
Прошлое тихонько тает
Вот уже и твой черед.

А когда-то ... У вокзала
Паровозный сладкий дым
Чуть почувствую, бывало, –
Той же ночью вслед за ним
Уношуся. Нет, не в горы –
В равнодушную Москву.
Там вели мы разговоры.
И молчали коридоры,
Много после (*mentez vous?*)
Виденные наяву.

XXIII

Vous, конечно. Здесь заминка
Я сторонник простоты,
Но купила Метерлинка
К моему смущенью ты.
Был в селении Тирнауз
Магазинчик славный. Там
Я нашел собранье пауз,
Нот и лиг. По волосам
Странный холод пробегает
Каждый раз, когда рука
Ход в октаву повторяет
С ре на ре. Иль отъезжает
Младший Бах, наверняка
Не любивший старика.

XXIV

Видишь дом в лесу? Был розов
Крашеный его фасад.
Проносились мимо грозы
В гости к сванам и назад.
К сванам, я сказал, не к Свану,
Что грозе астматик Пруст?
Было в доме фортепьяно,
А теперь он, бедный, пуст.
Ход прогресса незатейлив,
Примириться надо с ним.
Не сыграть уж мне Вентейля
В доме, где теперь коктейли
Пьет пройдоха караим.
Все ж у двери постоим.

XXV

Потерялась нить рассказа.
Что вдали? Проход? Стена?
Где мы? Надо всем Кавказом
Облачная пелена.
Третья сутки без просвета
Сыпет снег и все сильней.
Звук мотора слышен где-то.
Снова тихо. Нет огней.
Спичку ближе к циферблату
Подношу. Который час?

Время детское – девятый,
Всё безмолвием объято.
Огонек в руке погас.
Тьма охватывает нас.

XXVI

Катерпиллер с мощным ревом
По дороге вверх спешит.
Пропасть ночи чёрным зевом
Распахнулась. Снег кишит
В струях света пред машиной,
Зорко в ночь глядит шофёр.
Все в снегу молчат вершины,
Смерть заносит свой топор.
Оборвалось что-то жутко,
Молча катит страшный вал.
Три секунды промежутка,
Лишь душа метнулась чутко,
Будто сверху кто позвал.
Тотчас всё погрёб обвал.

XXVII

Сколько раз ходил по грани,
Трижды чуть переступал.
Но звезда моих скитаний
Выручала, не пропал.

И живым воображеньем
Обладая, до сих пор
Верю всем предупрежденьям
Разуму наперекор.
Смелость – вздор, не много стоит.
Ум и опыт – всё не в счет.
Чувство! – то одно, шестое.
Прочь декартовы устои!
Нечет вычислен. Ах чёт!
И ошибка смерть влечёт.

XXVIII

Уж и косу заносила,
Тускло глядя из-под век.
Но, подумав, отпустила
Погулять ещё. Навек
Я запомню эти ночи:
Что б ни снилось, переход
Всё один лишь. Что короче
Неизбежной рифмы Tod?
И со мной напоминанье:
Если в полдень прикорну,
Просыпаюсь с содроганьем,
Ощутив её дыханье.
Будто в пропасть загляну,
Отодвинув пелену.

XXIX

Воздух лёгок. День сияет.
Явь – как будто чудный сон.
Водопады рассыпают
Серебро со всех сторон.
Скрыты брызгами, туманом,
Рушатся потоки с гор.
Как пахнёт сейчас тимьяном,
Зазвучит шмелиный хор,
Стелющимся ровным гудом
Убаюкивая слух –
Гуд со мною, гуд повсюду,
Светит солнце – жив я буду.
Вечность минула. Потух
Красный шар. Но жив мой дух!

XXX

Вниз, в лощину, в мир растений!
Травы вымахали в рост
Человеческий. Цветенье
В середине. Сколько звёзд
На кустах чертополоха!
Воздух стал тягуч, как мёд.
Вот состав последних вздохов,
Будь он выбран наперёд.
Но тропинка прихотлива –
Встали заросли стеной.

Напрямик, нетерпеливо
Продерёмся сквозь крапиву,
Жжёт колени. Пусть. Не ной!
Брод спасёт их ледяной.

XXXI

Серпантин! О, повороты,
Вы – коленям укорот.
И за поворотом сотым
Ждёт сто первый поворот.
Разгонюсь я лишь и сразу –
Поворот, как анжамбман.
Поверну, и только газу
Прибавляю – вновь обман.
Дёшев трюк. От уст Эола
Пух пустить куда трудней.
Как взлететь над гладью пола?
Сможешь? Нет? – Тогда тяжёлый
Тюк тащи и много дней
По тропинкам средь камней.

XXXII

Но дорога в лес вступает.
Стройный, хвойный, мачтовой.
Белка к реям вмиг взлетает,
Смотрит, вертит головой.

Долго, не меняя позы,
Замерев, за ней слежу.
Убедилась: нет угрозы.
Приспустилась. Развяжу
Свой мешок и с белкой-душкой
Поделюсь обедом я.
Съев изюминку и сушку,
Тотчас хитрая зверушка
Стрелкой рыжего огня
Как пропустит от меня!

XXXIII

– На Кавказе мачтового
Леса вовсе не найдешь.
Белка – пусть, но, право слово,
С лесом ты, приятель, врешь!
– Грех какой – прикрасил сосны!
Буду вратъ я впереди
Много раз еще, несносный
Критик мой – позорче бди!
– Да, наплел уж ты в охотку,
Строфы в возрасте Христа –
Всё на том же месте лодка.
Где сюжет и где красотка?
Аль кошёлочка пуста?
Али совесть нечиста?

XXXIV

– Ладно, под конец сюжетом
Развлеку. Пойдём на Шат!
До сих пор ещё поэты
С ним лишь издали грешат.
Молвил кто-то знаменитый:
«Он Казбеку будет кум»,
А другой сказал пиита,
Что старик – рахат-лукум.
Что он есть на самом деле
Знает, верно, он один –
Тьма и холод, вой метели
Или пекло, коль нагрели
Склон лучи. Каков притин!
В сотни тысяч десятин!

XXXV

Выйдем в три мы от приюта,
Переночевавши в нём.
Если ветер будет лютым,
Сутки, может, подождём.
Встали. Тихо. Ходом пешки
Шаг за шагом, не спеша,
В темноте пошли по вешкам,
Колким воздухом дыша.
В чёрной яме за спиною
Гаснет слабый огонёк.

Мы одни со тьмой ночною
Непроглядной, ледяною.
Путь опасен, путь далёк.
– Ничего себе развлёк!

XXXVI

Нет уж, я внизу останусь,
Дальше ты иди один.
– Лишнюю личину Янус
Сбросил прочь и стал един.
Руки липкие удущья
С горла радостно стряхну
И отступит малодушье.
С облегчением вздохну
И шагну с весельем странным,
Словно в воду, в темноту.
«С тьмой мы сродны. Цель желанна», –
Повторяю неустанно,
От усилий весь в поту,
Набирая высоту.

XXXVII

Путь несложный очень долог.
Надо лишь идти, терпеть –
Лучший случай звёздный полог
Хорошенько рассмотреть.

Вот Дельфин, Кассиопея,
Лебедь (ветер поднялся),
Лира (ветер свирепеет),
Яркой плошкою вися
Бровень с нами, льёт Венера
Золотисто-синий свет.
Ветер с запада ... Холера,
Он приносит запах серы.
Был в аду, но не согрет.
Шелли зря он был воспет.

XXXVIII

Вот с шипением негромким
Змеи по льду поползли.
И пошла, пошла позёмка,
Оторвалась от земли
И давай мести навстречу,
Пробирая, леденя,
Тигром прыгая на плечи,
Чтоб к земле прижать меня.
Вздор! – В сравнении с лавиной
Это святочный рассказ.
Вот рассвет. У седловины,
Путь пройдя до половины,
Постоим. Внизу как раз
Открывается Кавказ.

XXXIX

И от Цея до Далара
Видно все. Казбек вдали,
Башни Ушбы, гребень Шхары –
В облаках, как корабли.
Отчего вдруг в кровотоке
Забурлил английский хмель?
На алеющем востоке
Брандер солнца сел на мель.
Дух ли Фрешфильда навеял
Эти строфы? – Нет, смелей.
Тёркин? Нет. – Ах, я не смею,
Восемь глав? Чего глупее:
Ямбом называть хорей.
Вспомнил! Это же «Reveille»!

XL

Нет, не сплю я. Дух бродяжий
Мне давно уже знаком.
Но сложу свою поклажу,
Новым замыслом влеком.
Широтою роковою
Опоясан шар земной,
Штормовой, сороковою,
Что крушений всех виной.
Здесь расстанемся с поэмой.
Навсегда ль? Сказать боюсь.

Пусть пока их звуки немы –
Ждут меня другие темы.
Может быть, еще вернусь.
А пока – прощай, Эльбрус!

1985–1996

ПРИМЕЧАНИЯ

II. Тот стих:

Я хочу, чтоб в это лето,
Лето, полное угроз,
Синь военного берета
Не коснулась Ваших кос ...

IV. Пеною на сладком муссе ... Комментатор не знает, откуда здесь взялся мусс, но подозревает, что автор несколько своеобразно перевёл стих Верлена:

Un frisson d'eau sur de la mousse!

VII. Баксан – горная река на Кавказе.

XII. Консерваторка – Муза Граф, героиня рассказа Бунина «Муза».

XIII. В раю мы будем в мяч играть. В. Сирин, «Университетская поэма».

XIV. Пенсне и ключи, конечно, принадлежат Ходасевичу.

XV. Вероятно, подразумеваются строки «И постепенно взявиши певес, их опечатывает темнота».

XX. Мицар и Алькор (Конь и Всадник) – звёзды созвездия Большой Медведицы.

XXIII. Ход в октаву – в начале концерта Марчелло. Младший Бах – см. «Капричио на отъезд возлюбленного брата» И. С. Баха. Обе пьесы были, вероятно, в «собранье пауз, лиг и нот».

XXV–XXVI. Описывают реальные события на Баксанском шоссе около посёлка Тегенекли в феврале 1993 года. Катерпиллер – гусеничный трактор.

XXXI. Серпантин – извилистая тропа на крутом склоне.

XXXIV. Рахат-лукум, см. стихотворение Заболоцкого «Черкешенка». Притин – зд. солнцепёк, место, освещённое солнцем.

XXXVII. Запах серы – при восхождении на Эльбрус иногда слышен запах сероводорода – признак скрытой вулканической деятельности. Шелли – автор «Оды западному ветру».

XXXIX. Цей – район Восточного Кавказа, Далар – гора на Западном Кавказе. Ушба, Шхара – красивейшие вершины Центрального Кавказа. Фреш菲尔д – английский исследователь Кавказа, первооснователь на Эльбрус. «Reveille» – стихотворение Хаусмана (четырехстопный хорей, AbAb), содержащее следующие строки:

And the ship of sunrise burning
Strands upon the eastern rims.

ЧАСТЬ 3

**ПЕРЕВОДЫ ИЗ АНГЛИЙСКИХ,
АМЕРИКАНСКИХ И КАНАДСКИХ
ПОЭТОВ**

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ А. Э. ХАУСМАНА

В 1896 году в Англии вышла одна из самых совершенных книг мировой поэзии – «Шропширский парень» («A Shropshire Lad»). Книга была издана за свой счёт (после традиционного в таких случаях отказа издательства Макмиллан – история сохранила имя рецензента, не будем его вспоминать) уже известным к тому времени учёным, специалистом по классической филологии, профессором Лондонского университета Альфредом Эдвардом Хаусманом (1859–1936). Она не была сразу замечена и распродавалась плохо. Но во время Первой мировой войны произошёл перелом – после того как Хаусман дал разрешение на помещение некоторых своих стихов в собрание, предназначеннное для солдат в окопах, то, что любили и знали лишь немногие, стала знать наизусть вся Англия.

Хаусман написал не очень много стихов. В «Шропширском парне», вышедшем, когда поэту было уже тридцать семь лет, содержалось шестьдесят три стихотворения, в следующей и последней его прижизненной книге «Последние стихи» («Last Poems»), появившейся через двадцать шесть лет после первой, их было сорок одно. После смерти Хаусмана его брат, Лоренс Хаусман (довольно известный в своё время литератор), издал то, что осталось в рабочих тетрадях – еще около семидесяти стихотворений (в современных изданиях они делятся на две части – «Еще стихи» («More Poems») и «Дополнительные стихи» («Additional Poems»)). Это всё. Но Хаусман был не только поэтом. Всю вторую половину своей жизни Хаусман-ученый считался первым авторитетом в классической филологии в Европе, им изданы и про-

комментированы труды многих латинских авторов, его статьи и переводы до сих пор цитируются и переиздаются (трёхтомное кембриджское издание его научных статей, вышедшее в 1972 году, содержит 1300 страниц). Его считают последним великим английским стилистом, его лекции и критические разборы – это классическая английская проза, ясная, точная, ироничная. Среди листьев его венка есть и такой – одно из фирменных блюд в парижском ресторане «La Tour d'Argent» (он был его частым посетителем) до сих пор носит его имя.

О месте Хаусмана в поэзии можно говорить долго, перечисляя имена известных поэтов, восхищавшихся им и испытывавших его влияние (от Йейтса до Набокова*), но проще всего сказать так: теперь стихи Хаусмана – это часть английского языка, а вершины его поэзии – обязательно будут в своде лучшей мировой лирики, кем бы он ни составлялся. О том, что его стихи вошли в английский язык, лучше всего говорит следующий факт. Обычай называть свои произведения строчками из каких-нибудь известных стихов свойствен не только некоторым отечественным литераторам – англоязычные поступают так же. В Америке даже подсчитывают, чьи строчки встречаются в заглавиях чаще. Оказывается, что на первом месте – Библия, на втором – Шекспир, а на третьем – Хаусман.

Всю свою жизнь и довольно долго после смерти Хаусман считался человеком-загадкой. Он не имел своей семьи, его частная жизнь оставалась закрытой для всех, даже для братьев и сестёр. Неизменно мрачный тон его поэзии, постоянные мотивы смерти, самосожаления, безнадёжности, неудачной любви и одиночества всегда порождали много вопросов. Подлинный смысл некоторых его вещей казался тайной за семью печатями. Теперь считается, что эта тайна открыта. Адресат значительной части

хаусмановской лирики – его сокурсник по Оксфорду Мозес Джон Джексон, оксфордский первый призёр, атлет и, видимо, добрый малый. Об их отношениях точно известно следующее. На четвертом году учебы в Оксфорде Хаусман вместе с Джексоном и Альфредом Поллардом снимали вместе пять комнат на троих в доме напротив своего колледжа. Сначала Хаусман был одним из лучших студентов, но положение стало быстро меняться, и дело закончилось тем, что он полностью провалил все свои последние экзамены (Джексон и Поллард заняли на них первые места). Всё это совпало по времени со смертельной болезнью отца Хаусмана и серьезными финансовыми трудностями в семье. Карьера рухнула, и нищета стучалась в дверь. Но через некоторое время Хаусману удается поступить на службу в лондонское патентное бюро. В этом ему помог Джексон, работавший там же. В Лондоне Хаусман снимал одну квартиру вместе с Мозесом и его братом. После работы он просиживал вечера в библиотеке Британского музея, готовя свои первые научные работы, которые вскоре доставили ему известность и место в Лондонском университете. В 1887 году Мозес Джексон сообщает Хаусману о своей женитьбе и о предстоящем отъезде в Индию. Принято считать и писать, что именно это потрясение и вызвало к жизни хаусмановскую поэзию. Английские историки литературы не ограничились установлением этого факта и продвинулись весьма далеко в изучении частной жизни Хаусмана после 1887 года. Отдавая должное их настойчивости, мы не будем им следовать. Скажем здесь только, что известное и в России (после перевода, сделанного С. Маршаком) стихотворение Хаусмана «Oh who is that young sinner» описывает атмосферу в Англии во время процесса Оскара Уайльда, которая не могла не действовать на Хаусмана самым тяжелым образом (в СССР всегда писали, что Уайльда осудили за ос-

корбление ханжеских английских нравов). Не в качестве оправдания того, что не нуждается в оправдании (мир устроен так, а не иначе), а в качестве вполне уместной параллели вспомним здесь о Шекспире и об адресате его первых ста двадцати шести сонетов и оставим эту тему.

Поэзия Хаусмана – это поэзия открытого дыхания, музыкальная и гармоничная, отличающаяся (в своих лучших образцах) одновременно с чрезвычайной внутренней напряженностью той самой ясностью и простотой, которая достигается только очень большими поэтами. К сожалению, именно эти свойства и делают её практически непереводимой.

* Надо сказать, что для Набокова Хаусман – одновременно и одно из важнейших влияний и скрытая фигура в литературной игре. В книге «Другие берега» – русском и во многом отличном от первоисточника варианте книги «Speak, Memory» – Набоков говорит о своих русских стихах кембриджского периода: «Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидал, что сейчас вижу так ясно, – стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелла до Хаусмана, которыми был заражён самый воздух моего тогдашнего быта». В английском варианте это место неизвестно – вместо Марвелля и Хаусмана там находятся поэты-георгианцы (очевидно, в первую очередь – неназванный Руперт Брук, которого Набоков переводил и которым восхищался). Зато в конце 13-й главы «Speak, Memory» Набоков, перечисляя немногие картины своей кембриджской жизни, оставшиеся в его памяти, упоминает рядом следующие три: «...П. М., врывающийся в мою комнату с экземпляром “Улисса”, только что привезённым из Парижа; <...> Т., очень старый и немощный официант, проливающий суп на профессора Хаусмана, который тут же резко встает, как человек, внезапно выведененный из состояния транса... Е. Харрисон (тытор Набокова в Кемб-

ридже. – A. K.), делающий мне неожиданный подарок – “Шропширского парня” – маленькую книжку стихов о молодых мужчинах и смерти».

Анекдот о супе подозрительно напоминает хрестоматийную историю об Альфреде Теннисоне, который, находясь на светском обеде, перевернул красивую тарелку, чтобы рассмотреть марку мастера, и вылил на себя всё содержимое. Возможно, что это аналог анекдота о декане в разбитом окне, выданного Себастьяном Найтом г-ну Гудмену в качестве своего кембриджского воспоминания. К слову, и Себастьян Найт – alter ego автора в набоковском романе «The Real Life of Sebastian Knight» – признается: «Я был бесконечно влюблён в страну, ставшую мне домом, <...> у меня бывали киплинговские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения» (перевод А. Горянина и М. Мейлаха). В примечании к этому месту романа русский комментатор издания (Владимир Набоков. Романы. М., 1991) резонно пишет следующее: «О встретившихся (sic!) с Хаусманом – профессором Кембриджского университета – в обеденном зале (sic!!) колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии “Память, говори”...» Жаль, что ни Хаусман, ни Набоков никогда не увидят этого комментария. Несомненно, он бы пришелся по вкусу обоим.

Переводчик уверен, что какой-то дьявол преследует в посмертии великого текстолога. Так, например, Набоков и в «Speak, Memory», и в романе «Pale Fire», упоминая книгу Хаусмана, упорно меняет в её названии правильный и значимый неопределённый artikel на неправильный определённый, ту же характерную ошибку совершают и Сомерсет Моэм в своей книге «The Summing Up»; Д. С. Лихачев, цитируя Хаусмана в своей книге «О филологии» (М., 1989, с.201), пропускает опечатку в имени – А. Хаузман. Вряд ли кто-нибудь отважится упрекнуть этих авторов в невнимании к подобным мелочам. Один из сложнейших и загадочнейших английских романов Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire») буквально пропитан хаусмановскими мотивами. Можно предположить, что Хаусман – пятый участник цепочки взаимоотражений Набоков – Шейд – Кинбот – Градус. Вот кое-какие следы: годы жизни Хаусмана, заботливо указанные Набоковым в примечании к строке 920 поэмы

Шейда, – 1859 – 1936, годы правления короля Земблы, поклонника Хаусмана, – 1936 – 1958 (разница в год – особая тема для Набокова), год смерти Шейда – 1959! И Кинбот, и Хаусман (это стало широко известно приблизительно в то время, когда Набоков писал свой роман) страдали пороком, столь часто обсуждаемым на страницах набоковской прозы. Стихи Хаусмана цитируются без упоминания автора в тексте романа, и примечание к строкам 385 – 386 несомненно свидетельствует, что Кинбот прекрасно понимал гомосексуальную подоплёку знаменитого стихотворения Хаусмана «Атлету, умершему молодым».

В заключение приведём здесь полностью примечание Кинбота к строке 920 поэмы Шейда (перевод С. Ильина): «Строка 920: Так дыбом волоски – Альфред Хаусман (1859 – 1936), чей сборник “The Shropshire Lad” спорит с “In Memoriam” Альфреда Теннисона (1809 – 1892) за право называться высшим, возможно (о нет, долой малодушное “возможно”), достижением английской поэзии за сотню лет, где-то (в “Предисловии”? (Нет! В лекции “Имя и природа поэзии”, в качестве примера действия подлинной поэзии на организм восприимчивого человека. – A. K.) говорит совершенно противное: в восторге вставшие волоски ему бриться только мешают. Впрочем, поскольку оба Альфреда наверняка пользовались опасным лезвием, а Джон Шейд – ветхим “Жиллетом”, противоречие вызвано, скорее всего, различием в инструментах».

* * *

«А кони мои? Всё в поле?
И, новой, довольны травой?
На сбруе звенит колокольчик?
Я слушал его, живой».

— Всё то же здесь. Топчутся кони,
И упряжь звенит у всех.
Хоть ты и лежишь под землёю,
Что твой бороздил лемех.

«В футбол — ещё всё играют?
Там, на речном берегу?
Стоит ли вратарь в воротах,
В которых я встать не могу?»

— Да, мяч высоко взлетает.
Игра горяча, как встарь.
Сейчас он летит в ворота.
Поймает его вратарь.

«Наверно, моя невеста
Не слишком счастлива там?
Рыдать устала, родная,
В подушку, по вечерам?»

— О, ей в постели нетрудно.
Ложится она не рыдать.

Пожалуй, она довольна.
Спокойно ты можешь спать.

«А друг мой себе нашёл ли,
Пока я тут сох и тлел,
Постель хоть немного мягче,
Чем я отыскать сумел?»

– О да, старина, на зависть
Постель себе выбрал я.
И счастлива в ней невеста.
Не спрашивай только, чья.

* * *

Быстро и чисто. Из пистолета.
О! Здесь ты, мой мальчик, прав.
Можно покончить с болезнью этой,
Только в могилу её забрав.

О, ты подумал! Ясно представил,
Что с тобой станет в недолгий срок.
Вовремя дуло в висок направил,
Благоразумно нажал курок.

Лучше сразу. Меньше позора.
Сам собой предан. Сам же в ответ
Взял и расчелся с душою, которой
Незачем было рождаться в свет.

Понял, что будущее – не за горами.
В нём – лишь болото, трясина, страх.
Выбрал стать прахом. Ты прав! Между нами,
Многие вещи – хуже, чем прах.

Душа-недоносок – всегда проклятье.
Каждый калека плодит калек.
Стоит ли жить, растлевая братьев?
Мальчик, ты умер, как человек.

С жалостью ль, с завистью или с весельем
Мимо проходят свой и чужой.
Чистое празднуешь ты новоселье,
Необесчен, вернулся домой.

Смерть всех утешит и успокоит.
Мальчик-мужчина, я знаю одно:
Этот венок мой немногого стоит,
Только увязь ему – не суждено.

* * *

Раздвинул воды и провёл,
Не бросил в западне.
И после рядом, скрытый, шёл
То в туче, то в огне.

И дальше влёк их на восток.
Всемощною рукой,

Сквозь распри, голод и песок,
Вернул Он их домой.

Я слов пророка не слыхал.
Синай, снопом огня,
В ночи библейской полыхал
Для них, не для меня.

Передо мной Гора Громов
Стоит во тьме, нема.
Не шлёт мне знамений и снов,
Молчат её грома.

Хоть прозреваю я вдали
Обетованный край,
Я не достигну той земли,
Другим обещан рай.

Я знаю – путеводных вех
Мой тёмный путь лишён.
Мое пристанище – средь тех,
Кто даже не рождён.

И прах мой ветром на восток
Взметётся высоко.
И после, пылью на песок,
Опустится легко.

ВЕСЁЛЫЙ ВОЖАТЫЙ

Скитаясь утром рано
Тимьянной стороной
(Ручьи блестели. Залит
Весь мир был синевой),

Я юношу увидел
В тумане на лугах
С пером на круглой шляпе
И тросточкой в руках.

И дружественным видом
Был утру он под стать,
В глаза он заглянул мне,
Чтоб за собой позвать.

Куда? – спросил его я,
Но он не отвечал,
Показывал дорогу,
Смеялся и молчал.

И за моими вожатым
С весельем устремяясь,
Приязненные взгляды
Я всё ловил, смеясь.

Над пастбищами (были
Холмы внизу тихи,

Лишилъ только одиноко
Бродили пастухи),

Над крышами домишкѣ,
Глядящихъ из садовъ,
Всехъ мельницъ мимо, мимо
Далекихъ городовъ,

Всё что-то обещая,
И за собой маня,
Вожатый мой безмолвный
Куда-то вёл меня.

И над страной цветущей
Вдруг начал ветер дуть,
Над каждой крышей флюгер
Указывал нам путь.

Вперёд, за тенью тучи,
Летел, неутомим,
Вожатый мой. Спокойно
Я следовал за ним.

Как только буря мраком
Окутала холмы,
Заметил я, что в небе
Уже не только мы,

Что бурей в мире каждый
Был сад опустошён,

Что лепестков отцветших
Нёс ветер миллион.

Что ураган воздушный
Поток наполнил свой
Из всех лесов осенних
Захваченной листвой,

Что унесённых смертью
Всех за собою влёк
Ликующий вожатый,
И впереди, далёк,

На крыльшках сандалий
Летел по небу он,
С улыбкою весёлой
Ведя наш легион.

* * *

Словно в сновиденье странном
Злобно ширится вокруг
Жёсткой дроби барабанной
Долгий и упорный звук.

Своего дождавшись часа,
Закружилась круговерт.
Это пушечное мясо
Марширует прямо в смерть.

Молодцы идут живые.
Пусть на запад и восток
Кости их лежат гнилые –
Не кончается поток.

Флейты свищут, горны воют,
Трубы весело дудят:
Сколько ни умрёт героев
Новых матери родят.

* * *

И ложные тоже погасли огни.
Стёк на пол весь воск со свеч.
Иди. И спину свою разогни –
Мешок не оттянет плеч.

Не бойся. Чего там. Гляди не гляди,
Кругом беспростиветный мрак.
Теперь на всём пути впереди
Всегда уже будет так.

* * *

Раз вечером, после работы
Домой возвратившись с полей,
Сойдутся соседи. И кто-то
Вдруг вспомнит о флейте моей.

Лишь свет по лугам разольётся
Решатся за нею послать.
И флейта найдётся,
И станут они танцевать.

И каждый почувствует счастье
Средь этих занятий простых –
И дедушка, глядя с участьем,
Как ветер кружит молодых,
И я, над землёю поднявшись,
За музыкой вслед устремясь,
И день, задержавшись,
На звук её обратясь.

Взглянув, как танцор загорелый
С зазнобою пляшет своей,
Том Энни обнимет несмело
И тоже закружится с ней.
Глаза она тихо поднимет,
Как сладко обоим молчать!
И музыка с ними,
И флейте весь вечер звучать.

Вдали уже ночь. Нам же света
Довольно ещё над землей.
Лучами равнина согрета,
Уснула, не тронута тьмой.
Но нет! Зеленеющий клевер
Растаял средь быстрых теней.

И милый наш Север
Уже всё темней и темней.

Пусть тени ещё торопливей,
Мне с флейтой не страшно моей.
Быстрой, веселее, счастливей
Танцуйте, кружитесь за ней.
Стемнеет – и вечер как не был,
Назавтра уйдёте в поля,
А музыка в небо.
И в землю я.

К моим похоронам

О Ты, кто из горних просторов
Пустыней глухонемой
Детей своих в путь отправляешь,
А после зовёшь их домой.

Кто много племён и народов
Из глины и праха слепил,
А после от света дневного
Их вечною тенью укрыл:

Мы ныне к покою и миру
Навеки нисходим во тьму.
Мы созданы были Тобою
И зову верны Твоему.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РОБЕРТА БРАУНИНГА ИЗ КНИГИ «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»

Массив стихов Роберта Браунинга (1812–1889) русским читателем должным образом не обследован. Переводы немногочисленны, случайны и, за редчайшими исключениями, малоудачны, оригинальный текст даже для хорошо знающего язык трансцендентно сложен. Весьёз читать Роберта Браунинга – дело действительно нешуточное. Словарь его кажется необъятным, включая в себя всё – от специальных терминов, известных лишь органистам, до древнееврейских заимствований. Часто смысл речей поэта скрыт не только от читателей, чей родной язык не английский, но и от искушённых и сочувственных автору литературоведов-англичан. Возможно, что в этих случаях Браунинга всё-таки понимала жена – Элизабет Баррет-Браунинг – по крайней мере так предполагал Вордсворт. Создатель, пожалуй, самых гармоничных и ясных стихотворений английской поэзии, узнав о их свадьбе, обронил: «Надеюсь, что эти молодые люди добьются того, что станут понятными друг другу, ведь ни один из них никогда не будет понят кем-нибудь ещё».

О невнятности многих текстов Браунинга сложены легенды, вот одна из них, связанная с поэмой «Сорделло»:

«NN, выздоравливая после тяжёлой болезни, получил разрешение врачей немного читать в течение дня. Он взял первую попавшуюся книгу, из лежащих рядом с постелью. Ею оказалась только что вышедшая книга Браунинга. Не успев прочесть и страницы, больной смертельно побледнел, выронил книгу из рук и проговорил: “Боже мой! Я стал идиотом. Мое здоровье восста-

навливается, но я навсегда лишился разума. Я не в состоянии уловить смысл двух последовательных строк английского стихотворения!” Несчастный созвал всех своих домашних и, дав им раскрытою книгу Браунинга, спросил, каково их мнение об этих стихах; увидев, как выражение замешательства всё более и более проступало на лицах читающих, больной испустил вздох облегчения и тут же уснул».

Нынешнему читателю рассказанная история, конечно, покажется наивной, «непонятной» поэзия ему сейчас куда привычнее «понятной», но когда-то всё это звучало убийственно. Впрочем, затронутая тема обсуждалась ещё в альманахе «Северные цветы» на 1828 год:

«... один из наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется ...» (и далее о двух родах бессмыслицы). Бессмыслицы Браунинга почти всегда – бессмыслицы второго рода.

Что касается словаря Браунинга, то его обширность есть прямое следствие обширности интересов поэта, простирающихся от древних языков и истории до живописи и музыки. Эка невидаль! – опять скажет читатель – сейчас у любого в стихах то «Шуберт Франц», то Верmeer... Пожалуй, в ответ лучше всего привести следующую цитату из Г.-К. Честертона (G. Keith Chesterton. «Robert Browning», NY, 1902, p. 84):

«Очень многие образованные люди могут говорить о живописи с художниками; но Браунинг не просто мог говорить о картинах – он знал толк в их покупке. Сам он мог знать о живописи не больше, чем знает о ней пятиразрядный художник, а об органической игре не больше, чем шестиразрядный органист. Но после того, как все уже сказано, ещё остаются некоторые вещи, о которых знает даже пятиразрядный художник, но неизвестные и тончай-

шему ценителю живописи, вещи, понятные и шестиразрядному органисту, но недоступные и лучшему музыкальному критику. И все эти вещи Браунинг знал.

Иначе говоря, он был тем, кого принято называть любителем. Слово любитель вследствие странностей языка приобрело оттенок некоей тепловатости, в то время как оно должно обозначать страсть. И это связано не просто с формой самого слова; действительная характеристика многих безвестных дилетантов – подлинный огонь, горящий в них. Человек по-настоящему любит какое-то дело, если он занимается им не только без всяких надежд на то, что оно принесёт ему славу и деньги, но даже и без надежды сделать его хорошо. Подобный человек любит процесс работы сильнее, чем иной любит вознаграждение за неё. Браунинг был именно таким любителем».

Отсюда, в частности, все эти «септимы», «квинты», «задержанья и разрешенья» в «Токкате Галуппи». Браунинг знал то, о чем писал. Любопытно, что в одном из русских переводов «Токкаты Галуппи» слово «seventh» трактуется, как «седьмая» – очевидно, по аналогии с некстати вспомнившимся переводчику восьмыми и шестнадцатыми. Честертонов любитель никогда бы не сделал такой ошибки.

Включить в «клавиатуру упоминаний» полуза забытого* композитора может любой претенциозный болван. Рецепт слишком известен и описан, например, Достоевским: «Какая-то русалка

* Говоря о Галуппи, руководителе капеллы собора Святого Марка, авторе более сотни опер и десятков клавирных сонат, нельзя не сказать, что он был три года придворным капельмейстером в Петербурге. В России Галуппиставил свои оперы и даже писал православную церковную музыку. Среди его русских учеников был Бортнянский.

запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пиеса, которую он играл, названа *en tout lettres*, но никому неизвестна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре)...(и далее по тексту кармазиновского «Merci»). Выбрать именно Бальдассаре Галуппи собеседником в разговоре о смерти мог лишь Браунинг. Конечно, необычайная сила стихотворения оправдала бы любой, даже самый случайный выбор. Но выбор не был случайным. Музыкант-любитель действительно услышал в музыке венецианца ноты, вызывающие *холод за спиной*. Вот доказательство, что эти ноты в музыке Галуппи есть и что посвящённые знают о них. Пожалуй, все музыканты согласятся, что равелевский цикл «Ночной Гаспар» и финал сонаты Шопена (той, что с траурным маршем) – в списке «мрачнейших из мрачнейших» стоят первыми. 27 декабря 1958 года, в день похорон своего отца, потрясённый его смертью Артуро Бенедетти Микеланджели всё же не отменяет вечерний концерт. На нём он играет «Ночного Гаспара», сонату Шопена и пьесы Галуппи.

Впрочем, дело может быть не в одном только Галуппи. Кто бы ни писал о Венеции, Томас Манн или Генри Джеймс*, Тютчев или Ходасевич, напоминание *memento mori* возникает с математической неизбежностью. Эта устойчивая связь заслуживает изучения. Отметим ещё, что тютчевское стихотворение «Дож Вене-

* К слову – у Генри Джеймса есть рассказ, по сути дела, посвящённый Браунингу. Речь идет о «The Private Life», одном из первых рассказов Джеймса, в котором писатель применяет свой «фирменный» приём двух возможных трактовок событий (рациональной и иррациональной), позже он использовал его в «Повороте винта» и в «Оуэне Вингрейве». Общепризнанно, что прототипом одного из центральных персонажей «Частной жизни» является Браунинг.

ции свободной» написано практически одновременно с «Токкатой Галуппи». Тематическое и метрическое сходство этих двух стихотворений просто поразительно, и переводчик не устоял перед соблазном слегка им воспользоваться.

Возвращаясь к теме браунинговских «бессмыслиц», отметим, что строфы IV и V стихотворения «У огня» – пожалуй, самая знаменитая из них.

Конечно, общий смысл здесь более или менее ясен (и в варианте *ad libitum* передан переводчиком), но синтаксическая запутанность этого места для английской поэзии XIX века по меньшей мере необычна. Но, разумеется, стихотворение было выбрано для перевода вовсе не из-за этих строф. Скажем здесь несколько слов и об остальных.

Далеко не все они равноценны. Не исключено, что читатель соскучится, не добравшись и до середины этого длинного стихотворения (скорее, даже поэмы). Но в оригинале растянутость композиции и обилие маловразумительных стихов сполна искупаются местами, выполненными высшей поэзии. К ним в первую очередь относятся великолепная экспозиция, описания горной природы и тончайше нюансированная сцена любовного объяснения.

Любопытная история связана с десятой строфой («On our other side is the straight-up rock ...»). Набоков в книге воспоминаний «Speak, Memory» говорит, что любит её больше всех других (очень немногочисленных) английских стихов, содержащих «чешуекрылые» (*lepidopterological*) образы. Рядом он упоминает фетовскую «Бабочку» и бунинское стихотворение «Настанет день – исчезну я...». Вероятно, никто не знает, что эта строфа была использована Набоковым в качестве основы для одного эпизода романа «Pale Fire» («Бледный огонь»). (Король бежит из Земблы,

уходя через горный перевал. Тропинка, петляя между валунов, прижимается к отвесной скале. С противоположной стороны на осыпь садится бабочка.) Увы, та же строфа была использована в совершенно антинабоковском (и, само собой разумеется, антибраунинговском) духе в учёном труде одной австралийской пите-кантропши. Литературовед Пенелопа Гей (Университет Сиднея) всерьёз полагает, что «природа в стихах Браунинга в высшей степени сексуальна», приводя в пример альпийские пики, пронзающие небо в девятой строфе «У огня», и листья папоротника, бьющиеся о гранит, в десятой (*J. of Literary Criticism & Linguistics*, 71, 1989, p. 48).

Русскому читателю «By the Fire-side» не могут не прийти в голову некоторые сопоставления, например, с Тютчевым (уже упоминавшимся в связи с «Токкатой Галуппи»), чья «Итальянская Villa» немного напоминает одну из центральных сцен стихотворения, и для которого связь окружающей природы с психологическим состоянием человека была столь же очевидна, как и для Браунинга. Вспоминаются и некоторые стихотворения Ходасевича, особенно те, которые группируются вокруг «Эпизода». Но все эти совпадения вряд ли имеют какую-либо рациональную основу. Повторим (невольно копируя циклическую структуру «By the Fire-side») уже сказанное – в России Браунинг никогда не был прочитан.

Токката Галуппи

I

О, Галуппи! Бальдассаре, мне невесело с тобой,
Всё я слышу, не глухой я, всё я вижу – не слепой,
И тебя я постигаю, но с печальною душой!

II

Вот ты здесь, про что расскажешь старой музыкой своей –
Про купцов и купол Марка, вольный город без царей,
Где кольцо топили дожи средь лазоревых зыбей?

III

Город с морем вместо улиц ... Что за мост дугою встал?
Шейлока? Ах да, тот самый, где плескался карнавал:
И сейчас всё это вижу, хоть вовек там не бывал.

IV

Море, небо, маски, игры. Молодыми май любим.
В полночь праздник начинался, в полдень не расстаться им,
Ну а завтра всё сначала, но с поклонником другим.

V

Там синьора – уж синьора. Грудь высокая полна –
Разместиться места хватит. И приветлива она.
Щёчки круглы, губки алы. В обращении вольна.

VI

Как они любезны были. Трудно всё-таки стоять,
Теребя лишь бархат маски или шпаги рукоять,
Час молчать, пока токкаты ты не кончишь исполнять.

VII

Что там? Слёзы малых терций. Септима, как вздох вдвоём,
Задержанье, разрешенье – неужели мы умрём?
Всё же квинта ободряет: – Нет, ещё мы поживём!

VIII

Был ты счастлив? – Да, пожалуй. – А сейчас? – Я да, а ты?
Нету счёта поцелуям. Прочь тревожные мечты!
Но ответа доминанта ждёт у тактовой черты.

IX

Всё, конец, – удар октавы! Ты и бремя славы нёс –
«О, Галуппи! браво! браво!» – «В ларго не скрывала слёз».
– «Умолкаю тотчас, слыша, как играет виртуоз».

X

И к забавам возвращались. А потом по одному
(Этому – уж всё постыло, дел невпроворот – тому.)
Смерть их молча уводила навсегда в ночную тьму.

XI

Размышляю ли – иду я той дорогой иль не той?
Торжествую ль, выкрав тайну у Природы в кладовой,
Всё равно, тебя услышав, содрогаюсь, сам не свой!

XII

Ты сверчок, ты злобный призрак, на пожарище скрипишь,
А Венеции потратить – заработанное лишь:
Прах и пыль. Душа бессмертна, коль её ты различишь.

XIII

Взять мою хоть. Я геолог, физиком сумел прослыть,
Математик я, забава – уравненье мне решить.
Смерти – бабочкам бояться. Я умру? – Не может быть!

XIV

Ну а те венецианцы, безрассудны, хороши,
Распускались, отцветали, вызрел плод ли там, в тиши?
Поцелуи прекратились – что осталось от души?

XV

«Пыль и прах!» – опять скрипишь ты. И болит душа моя.
Эти волосы и руки, звуки, краски бытия –
Всё умолкло, всё истлело ... Холодно. Старею я.

У огня

Где мне осенью быть – я твёрдо знаю:
Холодаёт. Длинней и темней вечера.
Краски блёкнут твои, о душа, звуки тают
Многогласие немо твоё. Пора!
Твой ноябрь наступает.

У огня отыщусь я. И, ясно без слов,
С древней книгой, где мудрость веков хранится.
Ветер хлопает ставней, звенит засов,
Я листаю, листаю страницы.
Только проза теперь. Никаких стихов!

За дверями я детский шёпот ловлю.
«Здесь он, здесь. Углубился в Греков.
Можем мы убежать (я молчу, терплю),
Там в леске, у ручья, где полно орехов,
Мачту вырежем кораблю!»

Да, я в Греках, вы правы, мои друзья,
Влево, вправо ли бросишь взор, –
Древних лес дремуч, но дорога моя
Сквозь него ведет, впереди – простор,
Миг еще – и снаружи я.

Коридор все шире, и свет сильней,
Словно арка – выход, а там за ним
Вновь орешник, но только куда зеленей.
И – вдвоем – сквозь него мы с тобою скользим
Прямо в явь итальянских дней.

Я – послушный ведомый. И там, впереди,
С давних пор мне знакомый вожатый:
О, Италия, ты – стран других посреди –
Как юница. Искатели же – все неженаты.
Ты – как сердце у них в груди!

Мы руины часовни проходим опять,
Выше путь нас ведет по ущелью.
Погляди, деревушка? Никак не понять.
Или мельница кем-то поставлена с целью
Лишь тоску средь безлюдья унять?

Вот еще поворот – и мы в центре вещей.
Обступил нас обоих темнеющий бор.
О, как вьется, блестит меж камней и корней
Эта струйка воды! Вниз обрушившись с гор,
Превратился поток в ручей!

Вон внизу озерко. Не его ль он питает?
Видишь белое пятнышко рядом? То Пелла.
А вечерние Альпы над нами сияют,
Погляди-ка наверх, как вершины их смело,
Пики выставив, небо встречают!

Под отвесной скалою тропинка бежит,
И к скале её цепь валунов прижимает.
Видишь гладкий валун, что отдельно стоит?
Как лишайник цвета мотылька повторяет!
Саблей папоротник бьёт гранит.

Сколько смысла и чувства в раскраске ковра
Этих горных цветов. Все каштаны упали
И соплодьями по три колючих шара
На тропинке лежат. И орехам в начале
Ноября уже падать пора.

Вон по золоту наискось, слева направо
Перечёркнут листок, словно герб или щит,
Полосою, алеющей ярко-кроваво.
На иголочках мха он тихонько лежит
(Виден издали, красный на ржавом),

Близ грибов, что вчера под вечернею мглой
Тайно выросли тут. Нет, с утра, спозаранок
Плоть набухла их мякотью. Глянь, бахромой
И чешуйками ножки укрыв, сто поганок
Круг волшебный раскинули свой!

Вот часовня – почти у подножья хребта,
Что берет поворот здесь к далёким вершинам.
Рядом пруд. Под единственной аркой моста
Застоялась вода. Видишь, танцем над тиной
Комариная тьма занята.

И часовня и мост из похожих камней
Тёмно-серой породы, тяжёлых и влажных.
Вот стена. В неширокой канаве под ней
Отмокает пенька. Посмотри, как отважно
Плющ ползёт среди узких щелей!

Это бедное место. Священник приходит
Только к праздничным службам, и то не всегда.
Ровно дюжина жителей будет в приходе –
Все из редких окрестных домов. И сюда
Их двенадцать тропинок приводят:

Та – идёт от сарай для сушки пеньки,
Поднялась эта снизу от кузницы старой,
Та – спустилась со скал, где раскинул силки
Птицелов. Та – пришла от далёких амбаров,
Где орехи хранят лесники.

Притягивает на что-то лишь старый фасад –
Полумесяцем фрески размытой и чёрной.
И, как принято было столетья назад,
То Креститель в пустыне. Он терпит покорно
Здесь и холод, и дождик, и град.

Козырёк наверху, как положено, есть.
Не виновен строитель в страданьях Предтечи.
Где резной барельеф, можно цифры прочесть:
Архитектором год завершенья отмечен:
И вторая – вроде бы шесть!

И весь день напролёт сладкозвучное что-то
Тихо птица поёт ... Заблудившись случайно,
Пьёт овца из пруда. Мир охвачен дремотой.
Были, верно, и здесь преступленья и тайны –
Только это не наша забота.

О, отрада моя! Ты – моя Леонора.
Это сердце – моё, эти очи – мои.
С кем ещё я отважусь зайти в эти горы –
Людям страшно вернуться в ушедшие дни,
И седеют они слишком скоро!

Та тропинка ведёт на утёс. И на нём
Встанет юность, достигнув своей высоты.
Снизу старость грозит. Но нам всё нипочём!
Всё не страшно, пока, не заметив черты,
В пустоту мы с тобой не шагнём!

Юность там, позади ... Ты сидишь у огня.
Как? Смотреть мне не нужно. Конечно, я знаю:
Верно, книгу читаешь, молчанье храня.
Лоб высокий подперла рукой. И, читая,
Видишь то же, что вижу и я.

Я задумаюсь. Мысли мои прочитав,
Отвечаешь им, рифмы быстрей и точней.
Спросишь ты – и прекрасную плоть пронизав,
К свету выйдет душа твоя. Сразу же к ней
И моя полетела стремглав!

О, не правда ль – с тобою мы счастливы ныне.
Мы прошли по дороге, за юностью вслед,
Кто б подумал, что эта былая святыня
Нам покажется после – с высот новых лет –
По сравнению с ними – пустыней!

О, родная, ты видишь к чему всё идёт.
Две души, две туманности вместе сольются.
Тонет каждая в каждой. Скала пусть встаёт
На дороге двух рек. Знай, их волны пробьются
И единый поток потечёт!

Что же ждёт за пределами мира земного
Душу общую? В нерукотворном дому
Ей, единой, великое явится Слово.
Небо рухнет на землю. Но Слову тому
Предначертано сделать всё новым!

Мысль пришла к тебе – тотчас моя уж она.
Сердце шепчется с сердцем так ясно порой.
Но душа твоя в тонкостях искушена
Много больше моей. Помоги мне. Открой,
Что скрывает небес глубина!

Кто б тогда предсказал нам то чудо, что будет?
Просто к счастью тянулись. Его одного,
Столь обычного, жаждали. Кто нас осудит –
Мы с тобою стремились к тому, без чего
Очень редко обходятся люди.

Что ж, давай возвратимся к истоку вдвоём.
Всё забудем затем, чтобы вспомнить всё вновь.
Разбосаем мы чётки жемчужным дождём,
С новой силой почувствуем нашу любовь
И разбросанное соберём!

Что сказал я? Ах да – всё поёт и поёт
Птица тихо и сладостно целые дни.
Ровно в полдень умолкнет, заметив полёт
Пары ястребов. Крылья расправят они –
Всем полоскам устрой пересчёт!

А за полднем, нет, к вечеру – так чуть точнее –
Вырастает огромной стеной тишина.
Сколько нового, тайного скрыто за нею.
Тайны рвутся наружу. Ты слышишь – стена
Прогибается всё сильнее!

Мы бродили по этим безмолвным дорогам
То раздельно, то под руку. Тихо с тобой
Я всё вёл разговор. И пока понемногу
Шёл он, сердце моё к речи рвалось другой,
Но удерживал сердце я строго!

Замолчав на мосту, всю часовню кругом
Обошли мы, вздохнув об испорченной фреске.
Вот бы нашим двум душам когда-то потом
Обрести здесь приют. Как беззвучно. Ни плеска.
Лишь звенят комары над прудом.

Вот окошко с решёткой. Что там, интересно?
На скамейку привстав, разглядим без труда
Крест, алтарь. Без даров – по причине известной
Вдруг зайдёт мимоходом бродяга сюда,
Не боящийся молний небесных.

Весь алтарь осмотрели мы, пусто на нём.
Оглядели и портик и ржавую дверь.
Дату видели. Жалко, что смыло дождём
Половину Крестителя. Что же теперь?
В путь обратный? Ах нет, – подождём!

Как безмерно мгновение в сладостный час!
Лес умолк. Вдалеке где-то плещет вода.
Нежный сумрак окутал всё. Запад погас.
Всё темнее, темнее. Гляди-ка – звезда.
Загорелась и смотрит на нас.

Ни души. Только тьма всё ведёт наступленье.
Мы молчали и каждый наверное знал,
Что все звуки, все схватки меж светом и тенью
Служат только затем, чтобы он удержал
Нарастающее волненье.

Вот ещё чуть вперед, и – о, как это много!
Чуть назад – и какие миры исчезают!
Лишний шаг – и какая для счастья подмога.
Слышишь, кровь свои лучшие такты играет.
В том порука – вся наша дорога!

Пожелай – и тончайшая встанет преграда
(Хоть вполне ощутимая) перед тобой –
Мы беседуем просто и видим отраду
В разговоре друзей. Как, и только? Постой,
Не влюблённые ль мы? О, не надо!

Встань пред лучшим своим, никуда не спеша.
Можно кроны терзать урагану весною,
Но теперь лес недвижен – застыла душа
В час печальный, глубокой осенней порою,
Над последним листом чуть дыша!

Для того, чтоб чуть большее приобрести
И любовника выиграть, друга утратив,
Можно смело все кроны в лесу отрясти.
Листьев много весною – природа заплатит.
Но последний – в особой чести!

Пусть он сам оторвётся и ветром осенним
Увлекаем, свободно парит в вышине.
Пусть кружится, пусть, только закончив круженье,
Навсегда ляжет в сердце твоём в тишине ...
Но, волнуясь, ты ждёшь продолженья!

О глаза твои тёмные! Нет с ними сладу.
Эти волосы чёрные, взору под стать!
И какого за них испугаюсь я ада!
И не страшно бороться, легко умирать
Лишь в надежде подобной награды!

Ты могла б отвернуться, чтоб всё оценить,
Чтоб подумать: всё сразу решить или прежде
Чуть помедлить, ещё эту пытку продлить,
Погрузить ли в отчаянье, дать ли надежду
Или тотчас же всё прекратить.

Но ты сердце своё мне открыла легко.
Взглядом радость вдохнула в сосуд мой скучельный.
Ах, коль двое вблизи, как бы ни велико
Было счастье, но всё же – их души раздельны.
Рядом – это ещё далеко!

А затем через миг мановеньем руки
Нам неведомой, ночь опустилась над лесом.
Но мы знали – уже мы с тобою близки.
Наши жизни слились. Разорвалась завеса.
Мы едины – ей вопреки.

Это лес нам помог, вдруг проснувшись, чтобы
Волшебством нас навеки с тобою связать.
Это чарам его покорились мы оба.
И как только свершилось всё, тотчас опять
Еще крепче уснули чащобы.

Мы ведомы в сем мире. Всё то, что мы знаем,
Всё, что видим и чувствуем, – лишь переход
К осознанию Промысла. Мы прозреваем,
И душа нам приносит задуманный плод.
Миг – и он о себе объявляет!

Чем бы ни был тот плод, но он силу Устава
Получает, навечно нам в спутники дан.
Ах, как каждый из нас, Провиденью в забаву,
Тщится выдумать миру свой собственный план,
К миллиону забытых вдбавок!

Путь мой назван, его уже не изменить.
Всё открылось, таившееся в глубине.
Жизнь без смысла на этом пора завершить.
Знаю точно, что в мире положено мне:
Я рождён, чтоб тебя полюбить!

И смотреть на тебя: Ты сидишь у огня,
Та над книгой задумалась. О, как я знаю
Эту позу твою. Ты, молчанье храня,
Лоб высокий подпёрла рукою. Читая,
Ты прошла тот же путь, что и я!

На земле всё замыщенное для меня
Получилось. И замысла нет совершенней.
И его хорошенъко обдумаю я
В тихом доме, угрюмой порою осенней,
Как уж сказано мной: у огня.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ РОБЕРТА ФРОСТА

* * *

Готов поклясться и поверить сам,
Что в трелях, переливах, перепевах
Есть общее. Что птичим голосам
Какой-то призвук сообщён был Евой.
Строй мысли. Дело не в словах. О, нет!
Тут дело тоньше. Никаким уроком
Такого не достичь. Оставил след,
Иль смех, иль зов. Но только ненароком.
Быть посему. Она – в их голосах.
И более: перекликаясь с ними,
Она теперь живёт во всех лесах,
И тем уже вовек не быть пустыми.
И птичьей песне прежней уж не быть.
Зачем иначе Еве приходить?

* * *

Ты слышишь ли, о чём она поёт
В верхушках сосен день весь напролёт?
Мол, лето в середине, потому
Листва стара и даже для травы
Весна к июлю – десять к одному,
И сколько лепестков уже опало,

Когда из потемневшей синевы
Сошла гроза. Пусть скоро перестала,
Но, подлинный, все ближе листопад,
И пыль уже кружится над холмами.
Но можно ей и горло поберечь,
Её вопрос я понял в миг единый,
Ведь голос птицы разве лиши не речь:
— Как поступить с последней половиной?

* * *

Под теплым ветром высохла роса,
Оттяжки ослабели по углам,
Но главный шест, качаясь, в небеса
Всё смотрит вверх, а не по сторонам.
Так вот и ты, как шёлковый шатер,
Всё плещешься, заглядываясь ввысь.
Не держится ничем? Он распростер
Свой полог сам собой? Переплелись
Верёвки паутиной! Не видна
Из лёгких нитей сотканная сеть
Твоей любви. Всему вокруг родна,
Свободна ты. Но и не улететь
Тебе с земли. И будь благословен
Твоей души вольнолюбивый плен!

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ БЛИССА КАРМЕНА

Молитва язычника

О нет, я не боюсь. Я неустанным
Стал соглядатаем твоих чудес,
Когда впервые прошептал: «Как странно»,
Войдя ребенком в заснеженный лес.

И я все тот же! Как бы сиротлива
Земная наша гавань ни была,
Пусть из неё во внешние проливы
Любовь моя навеки перешла –

К тебе тянусь сыновнею душою,
И ты, как мать, склоняешься ко мне,
Я слышу тот же голос, что порою
Бывает слышен травам на холме.

Когда, тебя не ощущая рядом,
Покинутый, я зарыдал в тоске,
Ободрили сочувствующим взглядом
Меня леса. На древнем языке,

Понятном только звёздам и закатам,
Приязненно со мною говоря,
Утешил ветер, приобщив к крылатым
Словам таинственного словаря.

Не дай, когда последний вихрь завоет,
Мне смертный холод встретить одному –
Пускай меня твои объятья скроют,
Не подпустив сгустившуюся тьму.

Пусть ураган, трубя освобожденье,
Бессилен будет твой нарушить строй,
И пусть во мраке, посреди смятенья,
Сияет ровным светом твой покой.

ПЕСНЯ БРОДЯГИ

Верно, в осени просторной что-то родственно со мной –
Образ, облик или строй.
В рифму сердце говорит
С жёлтым, пурпурным, багряным, что сейчас вокруг горит.

И клёна яркий вспокох меня пробудит вдруг,
Как труб призывный звук.
Мой дух уж за холмом,
Что весь в замерзших астрах, как в облаке седом.

Кровь цыганская бунтует в октябре всего сильней.
Отзовись и следуй ей.
Она ходит по холмам.
Сзыгает всех бродяг по именам.

ЧАСТЬ 4
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕКОНТА ДЕ ЛИЛЯ

Воющие парии

Горам в туманной мгле не превозмочь дремоты.
В пучину погрузясь, шар знойный отпыпал.
Но море буйствует, за валом гонит вал,
И, пенные, у скал ревут водовороты.

Всё громче слышится протяжный вой в ночи.
В бездонной вышине клубится мрак беззвёздный.
Из тучи выскользнув, как некий призрак грозный,
Угрюмая луна льёт тусклые лучи.

Запечатлённый лик, оскаленный, коварный,
Осколок брошенный, давно погибший свет
В молчанье мертвенный рассеивает свет
С орбиты ледяной на океан полярный.

А дальше к Северу, в недвижной духоте
Простерлась Африка, в тени как в благостище.
Там голодают львы в дымящейся пустыне,
Вблизи озёр слоны уснули в темноте.

Средь остовов быков, за линией прибоя
На пляже гнилостном собаки собрались.
Но падали не жрут и морды тянут ввысь,
То жалобно скуля, то заунывно воя.

В безмолвном ужасе застыли тут и там,
Зрачки расширили, дрожат от лихорадки,
Сидят на kortochках и боятся как в припадке,
Прижав свои хвосты к облезлым животам.

Морская пена к ним приклеилась клоками,
Все позвонки видны под шкурой худой.
Когда взыгравший вал их обольёт водой
Собаки скалятся и лязгают клыками.

Под светом пепельным блуждающей луны
В уродливых телах что плачут ваши души?
Что жмётесь в страхе вы на самой кромке суши?
О чём вы воете? Какой тоской полны?

Не знаю и сейчас! О, дикие собаки!
Пусть много солнц с тех пор утратил небосвод,
Но всё мне слышится: у края чёрных вод
Сквозь толщу лет былых вы воете во мраке!

Ехидна

Когда входили в мир Титаны и Герои,
Полурептилией с чешуйчатым хвостом,
И полунимфой с сияющим лицом
Ехидна родилась в пещере Каллирои.

Отец ей Крисаор, и ею в свой черёд
Пятидесятиглав, пытаем вечным гладом,

Рожден был Кербер-пёс. За Леты чёрным хладом
Непогребенных он терзает и грызёт.

Ей Гея древняя в ущельях Аримоса
Одну из пропастей цветами заплела.
Там, в глубине её, Ехидна и жила
Розовогуба и божественноголоса.

Пылает в вышних свет, и всё озарено:
Стесненье скал и ключ, таинственный и чудный,
Солёный океан и город многолюдный,
В пристанище ж её всё немо и темно.

Но только лишь Гермес коров погонит алых
Клубящаяся тьма внезапно оживёт,
И тщательно укрыв пятнистый свой живот,
Она появится в раздвинувшихся скалах.

Пленительная грудь её обнажена,
По мраморным плечам волос спадают волны,
Её уста дрожат, искристым смехом полны,
И светоносный лик сияет, как луна.

Она поёт: и ночь плывёт среди гармоний,
Рычанием из тьмы ей отвечает лев,
И корчатся юнцы, желаньем закипев,
И муки их страстей томительней агоний:

— Придите, юноши! Невинна, молода,
Ехидна славная к себе вас призывает,

Румянец пурпурный её ланит пылает,
И чернь её волос сверкает, как слюда.

Из всех счастливее – те, кто любить способны.
Их огненным вином Ехидна напоит,
Оно, горчайшую, печаль их утолит.
Вкусившие его – навек богоподобны.

Очнёtesь посреди небесной синевы,
Там кровь бессмертная наполнит ваши жилы,
Там повстречают вас Олимпа старожилы,
Среди живущих всех блаженнейшие – вы!

Ночная тень бежит сияющего взора,
Лобзаниям моим числа и меры нет.
Вам будет колыбель – неугасимый свет
И сладострастия бездонные озёра. –

Так их зовет она, бесчувственна к мольбе,
По брюхо вся в крови, угрюмоогнеока.
А пропасть чёрная разверзлася глубоко
И поджидает их, уверена в себе.

Ночниц бесчисленных безумно трепетанье,
Когда их полымя манит к себе, губя.
Они кричат: Я бог! И я люблю тебя!
И греет хладную их тёплое дыханье.

О тех, кого она в объятья приняла,
Уже потом нигде и слуху не бывало.

Их плоть прекрасное чудовище пожрало,
И время кости их оттёрло добела.

Сон кондора

За Кордильерами, над чёрною ступенью
Отвесной лестницы, воздвигнутой в верхах,
Над цепью конусов, что прячут в облаках,
Кроваво-красных лав привычное кипенье,
Огромный Кондор, вширь раскинувшись, парит,
На всю Америку он смотрит с безразличьем,
И солнца алый диск в зрачке стеклянном птичьем
Угрюмым отсветом безжизненно горит.
Предгорье тени уж в объятья заключили.
Давно померкла степь. Нависшою стеной
С востока темнота охватывает Чили,
Великий океан и светлый круг земной.
Всё тяжелее мрак. В движеньи торопливом
Ночь ширится, растёт, окутывает тьмой
Пустыню, скалы, снег, весь материк немой,
Затапливая их бушующим приливом.
Потоком воздуха над Андами влеком,
Как некий дух, один, он ждёт её прихода.
И Ночь приблизится. И с воем непогода
Его настигнет вмиг и скроет целиком.
Всё оперение на нем тогда восстанет.
И клёкот радостный разносится окрест.
И шею лысую он к дальним звёздам тянет,
В бездонной пропасти увидев Южный Крест.

И он прощается с ветрами низовыми,
Взмывая вверх от них, он яростно хрюпит.
И в мёртвой вышине, расправив крылья, спит
Меж темною землей и звёздами живыми.

ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ

Повисла тишина недвижной пеленою,
Холодный лик земли безжизнен и суров.
В огромных застругах, торосистый покров
Все океаны сжал корою ледяною.

Погребены в снегу былые города,
Не скажет цепкий плющ, руину обвивая:
Здесь некогда вовсю кипела жизнь живая!
И память тех времён исчезла без следа.

В открытом море бриз валов уж не погонит.
Лесов шумящих нет. И зверь, и человек
От кары тяжкой – жить – избавлены навек.
Пустыня мёртвая и звука не проронит.

Как жалкий огонёк, внесённый в древний склеп,
Чуть теплится, дрожа и тьмы не освещая,
Так Солнце бедное, Земли не замечая,
Трепещет в пустоте. И взор его ослеп.

Всё ненасытное чудовище пожрало.
О звёзды дальние, оно и вас пожрёт,

Вам трепетать теперь, ваш близится черёд,
Уже вблизи Земли осталось пищи мало.

Неужто больше нет на свете ничего?
Любви, в единый миг весь мир перелетавшей?
Души измученной, но мыслить не уставшей?
Элизия теней? Насельников его?

Без эха сгинули в чернеющем провале
Бесчисленных племён живые голоса,
Туда же канули святые чудеса.
В одной могиле их века замуровали.

О светлый камертон античного стиха,
Творец цветов и рос, возделыватель хлеба,
О Солнце! Уходи с обугленного неба,
Погасни, как костер ночного пастуха.

Что медлишь ты? Земля – давно уж труп холодный.
Иди за ней. Умри. Чего ещё ты ждёшь?
От праха золотой свой пояс отряхнёшь –
Планеты полетят дорогою свободной.

Там друг за другом вслед вращаясь в пустоте,
Неисчислимых солнц сверкают мириады.
Но, обезумев, прочь стремятся звездопады
К безмолвной пропасти, к священной темноте.

Их ждёт слепая Ночь, простое Постоянство,
Бесформенная тьма, бесплодье, чернота,

Где в неподвижности живет одна тщета
Того, что знали мы как Время и Пространство.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СПУСТЯ

Упорно море тьмы рычало этой ночью.
Внизу, среди теснин, обвалы грохотали.
И над предгорьями разорванные клочья
Зловещих чёрных туч, как призраки, летали.

И ветер темноту набухшими кусками
Взрезал, распарывал, о скалы бил с размаха.
И, пьяный, гнал её огромными прыжками,
Как банду буйволов, ревущую от страха.

Как некий жуткий зверь, трясущийся в падучей,
Вся ощетинившись и небо скрыв стеною,
Огромная гора вставала грозной кручей,
Гудела, пенилась и брызгала слюною.

Я вслушивался в гул, как в сладостное пенье.
Как глас божественный гремела непогода.
О молодость! О страсть! Заветные виденья!
О хоры дивных труб, предвестники восхода!

И в бездне адовой чудесно невредима,
Сквозь вопли смертные, тоску и содроганья
Моя душа, легка и неостановима,
Взлетела в вышину, в небесное сиянье.

И ночь угрюмая тогда проговорила:
«Жизнь будет радостна! Откройте двери шире!»
И буря, хрюпло взвыв, за нею повторила:
«Люби! И растворись в гостеприимном мире!»

Тысячелетие прошло среди скитаний.
О ужас! Там же я! Рассвета жду я снова.
Но слышу эхо лишь отчаянных рыданий
И яростных теней падения глухого.

Ночь. ВЕТЕР ледяной...

Ночь. Ветер ледяной в промёрзших кронах свищет,
Ломает тростники и шелестит стернёй.
Спят тихо мертвцы под снежной простыней,
Во мраке стая псов, невидимая, рыщет.

И низкой линией, почти что у земли,
По небу вороны беззвучно пролетают.
Кость не поделят псы, поскуливают, лают,
Знать где-то вдалеке могилу разгребли.

Насельники ночи! Не ваши ль то рыданья?
Не с ваших ль стылых губ сорвался тяжкий стон?
Что потревожило ваш беспробудный сон?
Какое горькое вас жжёт воспоминанье?

Забвенья просите? Но, не кровоточа,
Истлело сердце в пыль, изъедено червями.

Блаженны мёртвые? Сумейте ж в чёрной яме
Припомнить жизнь свою, не плача, не крича.

Хочу вернуться в прах, расстаться с мукой злого,
Так старый каторжник, освобожденья ждёт.
Пусть цепь железная страданий отпадёт,
И то, что было мной, смешается с золою.

О, нет! Среди могил всё немо и темно.
Лишь псы скулят в ночи, лишь стонет непогода.
Вздыхает жалобно бесстрастная природа,
И сердце плачется, в груди уязвлено.

Что толку у небес вымаливать участья?
Безумец, перестань! Умри, как гордый волк,
Что с брюхом вспоротым, ощерившись, замолк,
Сжав лезвие ножа кровоточащей пастью.

Еще удар-другой. И после – ничего.
В могилу падают остатки жалкой плоти.
Забвенье скроет всё, как вереск на болоте.
На веки вечные молчание его.

FIAT Nox

Смерть вездесущая похожа на прилив,
Не медля, не спеша, куда ни хватит взора
Вода всё ширится и требует простора,
Лишь на вершинах скал свой ход остановив.

Надежда счастья нам – столь шаткая опора,
Столь тяжек век тоски и столь нетороплив,
Но счастье и тоску, во мрак святой вступив,
Как странный сон во сне, мы позабудем скоро.

О, сердце бедное! Сгораешь ты, любя.
Томимо злобою, ты страждешь и бунтуешь,
Свободы жаждая – оковы ты целуешь!

Гляди! Огромный вал несётся на тебя!
Мучений стихнет ад, когда через мгновенье
Нахлынет чёрное, священное забвенье.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

* * *

Разгорается свет. Вот всё ярче восход.
Шепчет счастье: «Я рук уж твоих не миную»,
И беглянки-надежды, как в пору былую,
Вокруг меня вновь не прочь закрутить хоровод.

Нет — иронии жалкой с губою поджатой!
Да рассеется морок погибельных снов!
Да рассыпется ворох погубленных слов,
Где господствует ум над душою крылатой.

Не ищу я забвенья в грехе пития,
И спокойно, не с стиснутыми кулаками,
Разминусь я со встреченными дураками:
Поостыла давно уже ярость моя.

Я прошу, чтобы Он, весь лучащийся светом,
Мою чёрную ночь осветил бы до дна,
Чтоб впервые, как милость, была мне дана
Та любовь, что улыбкой бессмертья согрета.

За очами, где теплится тихий огонь,
Я отправлюсь вослед по кремнистым дорогам.
Я пройду напрямик и по горным отрогам,
Если чувствовать буду твою я ладонь.

Или попросту так: без сомнений тяжёлых
Я иду к своей цели дорогой прямой.
Знаю: каждый мой шаг предначертан судьбой,
Знаю: радостный долг мой в сраженьях весёлых.

Ну а чтоб скоротать нам длинноты пути,
Пару песенок новых тебе напою я,
Благосклонно послушаешь — буду в раю я,
Лучше рая мне, право, нигде не найти.

* * *

Прислушайся к песенке нежной,
Легка, нешумлива, скромна,
Колышется тихо она,
Как волны под пеной прибрежной.

Мила была (помнишь? — тогда...)
И слышана часто тобою,
Вернулась в вуали, вдовою,
Забыта, но всё же горда.

Прохладное дуновенье
Чуть сдвинет вуали газ —
Пред звёздным сиянием глаз
Вдруг сердце замрёт в удивленье.

И голос знакомый поёт,
Что жизнь наша — доброта лишь,

Что зависти ты не оставил
В наследство, как смерть придёт.

Поет он о поприще чудном —
Лишь жить, ничего не ждать,
О доблести — не побеждать.
О радости тихих будней.

Пусть есть простодушие в ней —
Как песенка спелась, так спелась.
Что лучше душе, чем сделать
Другую чуть-чуть веселей?

Хоть больно ей — плачет нешумно,
И гнева в ней нет совсем.
Что сказано — ясно всем,
Прислушайся к песенке умной.

ИЗ СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ

СТРАХ СМЕРТИ

Овладевать сейчас твою плотью грязной
С неисцелимою не буду я тоской,
И спутанных волос кудели безобразной
Не стану ворошить скучающей рукой.

Хочу я одного: окутанным дурманом,
Без сновидений, спать, упав в постель твою.
Счёт потеряв своим изменам и обманам,
Всех мёртвых ближе ты стоишь к небытию.

Коль благородство, мне дарованное смлада,
Разъедено грехом – бесплодия печать
Легла и на меня: я принуждён молчать.

Мне страшно – слышишь, тварь? Я вижу призрак ада,
Я вижу саван свой – и прячусь в твой притин.
Я умереть боюсь, когда я сплю один!

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЯ ВАЛЕРИ

ПЧЕЛА

Франсису де Миомандру

О, сколь смертельно это жало,
Пчелою я напуган белой,
И хрупкий короб оробелый
Укрыл я тенью покрываля.

Приют Любви оцепенелой –
Грудь оживёт и вспыхнет ало.
Пчела, чтоб плоть не бунтовала,
Свой жгучий яд целебным сделай!

Короткой пытки жажду я:
Боль мимолетная ценней
Страданий долгих бытия!

Пусть чувства всколыхнутся с ней!
Без этих золотых тревог
Дух в смертной дрёме изнемог!

Поэзия

От сосцов богини Пенья,
Жадный млечных их щедрот,
Оторвался в изумлены
Разом пересохший рот:

— Мать-искусница! О Нежность!
Млека нет в твоей груди!
Не виною ли небрежность?
Сладостная, погляди!

Лишь на персях этих полных,
В белоснежности пелен,
Поплавком на теплых волнах
Я забылся, усыплен;

Только в небе этом мрачном,
Тени отхлебнув густой,
Стал я светлым и прозрачным,
Исполняясь красотой!

Брошен в океан духовный,
В бoga преосуществлён,
Погружён в покой верховный,
Восхищённый — покорён,

И теченьем чудотворным
Завлечён в волшебный плен,

Стал я ночи тайнам чёрным,
Смерть забыв, прикосновен...

Объясни, зачем так грубо,
Виноваты без вины,
Млека алчущие губы
От струи отрешены?

Строгость! вид твой недовольный
О недобром говорит!
И молчанья лебедь вольный
Больше рядом не парит!

Вечная, твои ресницы
Занавесили мой клад,
Как от мраморной гробницы,
От тебя исходит хлад!

Ты меня лишила света!
Обернись и свет яви!
Чем ты станешь без поэта?
Что я буду без любви?

Но ответный раздается
Голос на пределе сил:
— Сердце уж мое не бьётся,
Так ты грудь мне прикусил!

Пифия

Пьери Луису

Hæc effata silet; pallor simul occupat ora.
Virgile, Aen., IV.

Ревет и изрыгает пламя,
Вся выгибается, дыша!..
Хмелея в душном фимиаме,
В падучей корчится душа!
Бледна, уязвлена глубоко,
Недвижное, достигло око
Вершины ужаса, а взгляд,
Безглазую оставив маску,
Вперён в чудовищную пляску
И тёмной яростью объят!

Среди бушующей стихии
Безумной тенью восстаёт,
Где правят демоны глухие,
По стенам призраком плывёт,
Рычит – и грозные раскаты
Взрывают тишину палаты,
На миг утишив вой, взамен
Торопит родовые спазмы,
Вдыхая чёрные миазмы
Грядущих в темноте времён!

Змея треножник обвивает,
Блестит сталью чешуёй.
В ознобе Пифия взывает,
Раскачиваясь со змеей:
— Несчастная!.. Что за страданье!
Я вся – разверстое зиянье!
Последний перейдя предел,
Я тайну потеряла разом!..
И похотливый Высший Разум
Мной, понятою, овладел!

Жестокий дар! Насильник грязный!
Прияв бесплодное зерно,
Вспухает чрево безобразно,
Не быв оплодотворено!
О, моего не дли позора!
Открытое бесстыдно взору,
Натянутою тетивой
Сорваться вдруг готово тело,
Что душу в небо захотело
Пустить отравленной стрелой!

О Ты, чей голос сплёлся вместе
С моим, Ты, просвещая, – жжёшь!
Кто воет тут, богов бесчестя?
Чьё эхо мне гремит: «Ты лжёшь!»?
Язык сминая мой и раня
Волною пенящейся брани,
Кто нудит рот произносить

Косноязычные признанья
Сквозь зубы, сжатые в желаньи
Себя же в страхе укусить?

Я лишь в одном повинна, боги:
Едва жила я до сих пор!..
Но коль решили вы в итоге
Меня отправить под топор,
Схватили чудище, пригнули
К земле его и полоснули
По горлу, после за виски
Подняли голову победно ...
Пусть затвердеет сумрак бледный
В недвижность мраморной доски!

И пусть тогда морские воды
Веленьем странницы-луны
Под вечные подступят своды,
Их воле впредь подчинены!
Моих очей холодный пламень
Да обратит в безмолвный камень,
В застылых идолов немых,
Во статуи с душою трупа
Людей с их гордостью столь глупой
И болтовнёй несносной их!

О! Каково!.. Мне – стать змеёю,
Всю плоть мою в пружину сжать,
Членений мелкою игрою
Переливаться и дрожать!..

Бессмысленную прю земную
Возобновить!.. О, нет, верну я
Давно забытую мечту;
О память, силою целебной,
Алхимией своей волшебной
Восставь былую красоту!

Возлюбленное воплощенье –
Телесный облик красоты, –
Неутолённым вожделеньем
Для Афродиты было ты;
Все впадинки твои, вершины,
Из чуткой вылеплены глины,
Средь пены окарин и труб,
Как острова, огнём пылали, –
Но Орки сделать возжелали
Из них вот этот стылый труп!

О, как к тебе, златолитая
Плеча сверкающая тьма,
Люблю щекой прильнуть я, тая,
От нежности сходя с ума!..
Трепещут ноздри, чуя пряный
Солёный ветер океана;
Из бездны хлынувший прилив
Ко мне всё выше подступает,
И бездна бездну принимает,
Объятья жадные раскрыв!

Свой строй – увы! – сменило пенье,
Был выставлен печальный знак,
И указанье к помрачению
Вдруг высветил мне Зодиак!
И храма каменные своды
Пещерой стали, непогода
Вдруг омрачила небеса!
И, исступленья достигая,
Мечусь я, пламя изрыгая,
Вздымя дыбом волоса!

Меня узнали по стигматам
На коже высохшей моей
И усыпили ароматом
Дыханья детского нежней;
Они груди моей коснулись,
Где странной вязью изогнулись
Узоры явные змеи;
Над спящую во мгле куреня
Под тихожалобное пенье
Свершили таинства свои.

Что сделать я сумела, чтобы
Быть мучимой ужасно так?
Снесёт богов глухую злобу
Ослиный разве лишь костяк!
Но рёбра девственницы хрупки,
Жемчужной устричной скорлупке
Нести не можно ничего
Без запредельного мученья,

Лишь только тяжесть отреченья
И бремя девства своего!

О Силы Творческого Гнева,
Мне воля ваша не ясна:
Зачем для жуткого посева
Вам девственные ложесна?
Так вот дары, что мне даются?
Вы верите, что струны рвутся
Чтоб грянул самый лучший звук?
Вы плектром мне по торсу бьете,
Но слышится мне в каждой ноте
Кирки могильной мертвый стук!

Я отвергаю дар прозрений!
О гнев, себя умилосердь:
Пусть лаской станет огнь мучений,
Пусть от меня отступит смерть!
Твоей могущественной силой
Трясется втуне стебель хилый,
Избытки эти не нужны!
Вода спокойная прозрачней
Взвихренной буйством бури мрачной
Беснующейся глубины!

Приди не в этом сне жестоком,
Не страшной молнией ударь –
Всеозаряющим потоком
Хлынь, дивный свет, на мой алтарь!
Он хлынул!.. Что-то возвещает!..

Нет!.. Только пропасть освещает
Бездонно-мёртвой черноты,
Зияющую в тьме зловещей,
Где не мелькнет и тени вещи
Средь совершенной пустоты!

Нет нужды силою могучей,
Играя, искры высекать!
Всё то же сделает и случай!
Что можно в темноте искать?
Ведь будущее с прошлым – братья,
Навек сплетённые в объятьи,
Двуликая их голова
В две стороны глядит, однако
К ней с двух сторон плывут из мрака
Глухих забвений острова.

Довольно свет искать, печально
Сквозь слёзы всматриваясь в тьму...
Тех слёз исток первоначальный
Не виден взору моему!..
Лишь вышняя зеница ищет
Себе во мраке этом пищи!..
Недостижима неба твердь!..
Весь род людской к земле придавлен
И в одиночестве оставлен,
Пока свою не встретит смерть!

Душа! мне эти звуки внове!
Что значит этот странный гул?

Биенье сердца, шелест крови?..
Валов безжалостных разгул?
Что возвещает мне победный
В висках звенящий голос медный?
Он мне о будущем звенит!
И бьется колоколом в скалы
Тот час, что с силой небывалой
Раздвоенное съединит!

Стою пред страшною ступенью,
Ведущей к самой вышине,
Из глубины ползущей тенью
Смерть подымается ко мне!
И пальцы Парок чуют чутко,
Как нить моя забилась жутко!
Гляди, сейчас её порвёт!
И жизнь средь стонов и рыданий,
Среди последних содроганий
В вершине счаствия замрёт!

Стада, исполненные страха!
Довольно в ужасе мычать:
Выламывайте дверь с размахом,
Сорвав ненужную печать!
Взрывайте сумрачные недра,
Где вас я воскормила щедро,
Тяжёлым сковывая сном!
Щетинясь зло, вздымаясь гордо,
Бушуйте, яростные орды,
Сверкайте Золотым Руном!

*

Так в жутких судорогах боли,
Безумная, она вопит
И возбуждается всё боле.
А золото, дымясь, кипит.
Но глас небес себя являет!
И ухо радостно склоняет
К живому трупу главный жрец, –
И голос призрачно-бесцветный,
Звучащий из тиши заветной,
Теперь рассыпан наконец.

*

О мерное великолепье,
О наша честь, Святой ЯЗЫК,
Твоих законов легкой цепью
Сам бог смирять себя привык!
Как знак неслыханной щедроты,
Раздались царственные ноты,
Не человечьи голоса
Звучат в небесном стройном хоре –
То говорит живое море,
Ревут валы, шумят леса!

ЛЬСТЕЦ

Излуки, извины
Таинственных нот.
О, сколь прихотлива
Наука длиннот!

Клоню я куда,
Ужели не ясно?
Не будет вреда,
Хотя и опасно...

(Пьянящий избыток
Всех с толку собьёт:
Пусть, гордая, пьёт
Весёлый напиток

И нетерпеливо
Ждёт ноту из нот.)
Излуки, извины
Я вью прихотливо.

МНИМОМЁРТВАЯ

В смиреныи, с нежностью, над мраморной плитой,
Бесчувственною чернотой,
Там, где усталые твои благоволенья
Прядут из теней тьму забвенья,

Склоняясь, падаю, проваливаюсь в тьму,
В подземный мрачный склеп, в холодную тюрьму,
В стесненье тленное, над прахом цепенея;
Вдруг мнимомёртвая – какая сила с нею? –
Дрожа, язвит мне грудь, пронзив немую твердь,
И тянет из меня сияющую смерть,
Что жизни прожитой ценнее.

ГРАНАТЫ

Нет, не тяжёлого граната
Зернистая вспухает плоть:
То мысли рвутся расколоть
Чело высокое Сократа!

О, если в августовский жар
Разверзся на две половины
Упрямый плод, и все рубины
Вдруг показал надменный шар,

И если с силой небывалой
Вдруг хлынул сок наружу алый,
Перегородки сокруша,

И брызнул свет из тьмы разбитой –
Пусть верность сохранит душа
Своей архитектуре скрытой.

КРУШЕНИЕ

В который час судьба неотвратимо
Как тень падёт и корпус разорвёт?
Какая мощь рукой неощутимо
Весь остов наш во тьме переберёт?

Обрушась, смерч с обломков носа смоет
Все запахи – и жизни и вина:
Придёт прилив, вода могилу скроет –
Ровнять и рыть равно она годна.

И, гнусный трус, чье сердце дико бьётся,
Что, пьяный вдрывг, блуждает средь морей,
Чья, качкой злой измученная, рвётся
Душа бежать и в ад попасть скорей,

Я, человек, высчитываю в страхе
Всю связь причин, и с ясной головой
Предвижу я, как время в полном крахе,
Себя убив, завод сломает свой...

Будь проклят скот, чьей волей гнилью полны
Все палубы и трюмов чернота!
Гнилой ковчег к Востоку тащат волны,
Тварь изнутри крушит его борта...

С пучиной мы в единого жонглёра
Слились вдвоём, перемешав пестро

Все образы: вот чашка из фарфора,
Вот мать моя, вон шлюха из бистро;

А вон Христос, подвешенный на рее!..
Он рвётся в смерть со всеми заодно;
Кровавый глаз сияет Назорея –
Экзерг гласит: КОРАБЛЬ ПОШЁЛ НА ДНО!..

БЕСЕДА
(для двух флейт)

*Франсису Пулленку,
положившему её на музыку*

А

С Розы, что безуханна,
К нам слетает тоска;
С Розой схожи вы странно:
И молчанье цветка
И твое – безуханны;
Вас сроднила тоска
С той, чьё нежное ухо
Манил мертвое и сухо
Завитком лепестка,
С той, чьё имя столь глухо,
С той, кого я забыл;
С той, о ком нет и слуха,
С той, кого я любил:

Та, другая, бывало,
Губы мне отдавала.

В

Что равняешь нас ты
С блёклой розою лживо?
Прошлой нет красоты,
Только новое живо...
Взгляд мой видит в твоём,
Как с тобою вдвоём
Мы в объятиях слились!
Пусть огонь моих глаз
Слёзы высушит враз,
Что о прошлом пролились,
И скорее умрет,
Лишь возникнув, желанье, —
Покорённый мой рот
Возвращает лобзанье...

ЧАС

ЧАС царственный, смеясь и обратясь сиреной,
Горит в сиянии неведомых времен;
Танцуй же, Луч, танцуй среди холодных стен
Души угрюмой и надменной.

ЧАС близится, забьёт источник сокровенный.

Пылает прошлое, и глад мой утолён;
Я одиночеством верховным восхищён,
Любя в самом себе свой образ суверенный!
И тайный демон мой легко порабощён
В прозрачном воздухе бесследно растворён
И в мудрость светлую волшебно претворён
С приходом ясности мгновенной.

ЧАС близится, забьёт источник сокровенный;

Танцуй же, луч, танцуй среди холодных стен,
Пред оком сумрачным чернеющей вселенной.

НА РАССВЕТЕ...

Рассвет: ещё не давит зной,
И нежность, мягкой пеленой
Рассеянная в ясном небе,
Со скорбью борется земной.

В ночи я вынес столько боли;
О Ночь, терпи теперь и ты
Расцветшие в небесном поле
Полупрозрачные цветы.

Сумей принять их приношенье;
Как вынесешь, ночная боль,
Обетованье возвращенья
Вещей, невидимых дотоль?

Столь много видел я туманов
В бессоннице моих ночей,
Что число я среди обманов
И силу солнечных лучей;

По воле или против воли,
Не знаю, как смогу принять,
О день младой, на белом поле
Твою червонную печать.

РАВНОДЕНСТВИЕ ЭЛЕГИЯ

To look...

Меняюсь я... Что ввысь неслышно отлетело?...

И, власти прежней лишена
Предчувствья усыплять, листва отяжелела:
Безмолвна стала тишина.

Душа, твоих кантат высокое звучанье
Рекой лилось со всех сторон;
Глубокою водой простерлося молчанье
Над тайной птичьих похорон.

И надо мной, живым, вдруг небеса ослепли;
Вблизи летейских берегов
Уснули на песке, как будто в мягком пепле,
Останки спутанных шагов.

Психею нежную вода вуалью скрыла;
Моя сомнамбула, о ком
Прозрачная твоя вздохнула вдруг могила
Слетевшим с камня пузырьком?

Наедине с собой, Она меня прощает,
Но только взор отводит свой;
Верна, меня бежит, любя, меня бросает
В моей пустыне неживой.

А отчего – бог весть, и тщетно сердце бъётся,
И Эвридику не вернуть;
Оставь, Орфей, не спорь: она не обернётся,
Змей ужаленная в грудь...

Свидетель сумрачный любви невозвратимой,
О Солнце, вот и твой черед:
С упрямой нежностью тебя неодолимо
За реку чёрную влечёт.

Прозрачной осени печальная свобода!
О, как мне одиноко с ней!
Всё сущее вокруг готовится к уходу;
Исчезнуть – значит стать ясней.

Недвижным «Почему?» застыл окаменело,
В глазах стоял вопрос немой,
Но веко, задрожав, внезапно почернело
И пало между мной и мной...

О, что за вечности лишь за одно мгновенье
Нежданно оборвался ход?..
Упавшего листа легчайшее явленье
Чертою разделило год.

Крути вокруг меня, о ты, листва сухая,
Свой огненный водоворот;
О Солнце, уходя, одним лучом сверкая,
Пронзи им время, что умрёт...

Осенним ветром в путь невольно увлеченный,
Средь алой паники плыву;
И в вихре золотом кружусь я, изумлённый,
И пробуждаюсь, и живу!

ПЕСНЯ НА ДВА ГОЛОСА

Что просишь? Всего.
Что можешь? Как знать...
Два слова связать,
Почти ничего...
Что стоишь? Как знать...
Что хочешь? Всего.

Что знаешь? Тоску.
Что можешь? Мечтать
Скорей пролистать
Всю жизнь по листку.
Ещё что? Мечтать
Развеять тоску.

Что ищешь? Свой след.
Что нужно? Суметь
Всем тем овладеть,
В чём толку и нет.
Что страшно? Хотеть.
Ты есть? Меня нет!

В чём долг? Умереть.
В чём смысл и венец?
Смогло мне вконец
Всё осточертеть.
Куда ты? В конец.
Зачем? Умереть.

ДЕВУШКА

Тебе решила я присниться
Такой разумною, такой
Прелестною – и под ресницы
Плеснула синевой морской!

И радужную оболочку
Пронзила радугой. Твоя
Счастливейшая мысль и строчка
Из самых лучших – это я.

Желая взять в стихотворенье
Всё то, что видимо вокруг,
Ты лишь не упусти мгновенье,
Когда я смехом вспыхну вдруг.

Под лампу, розовый, метнётся
И по листу наискосок,
Рассыплется, потом вернется,
Скользнет обратно в твой висок.

С огнём смешается. Пропажи
Ты не вернешь. И то сказать –
Сама двух голубей в корсаже
Я не умею удержать.

ДУХОВНАЯ ПЧЕЛА

О демиург, великий дух, творец!
Алкая, вьёт душа-пчела живая
Свои круги у входа в твой дворец,
Твоих пиров щедротами живая.

Струится мёд средь золотистых сот;
Хранится там в таинственном слияньи
И ясный свет божественных высот,
И алгебры холодное сиянье.

По прихоти свободного ума
Пчелиный путь причудливо завьётся:
Запуталась пчела в себе сама
И, лёгкая, о стены улья бьётся.

Звучащий след размытого пятна,
О, крохотный молниевидный атом,
Удержишь жизнь единственную на
Прозрачном сне, на облачке крылатом?

А бес и плоть – попятный только ход
Создателя, глухое полыханье

Огня в золе, бледнеющий заход,
Погасших солнц предсмертное дыханье.

Где ты живешь, о трутень-абсолют,
Само себя забывшее мгновенье?
Благословиши – все вещи запоют,
Опомнятся в тоске стихотворенья.

И мне мила обманная игра,
Окольный путь во мраке многоплодном,
Вмешающим все завтра и вчера,
Горящие на лоне плодородном.

БЕАТРИЧЕ

Легчайшая сгустится тень –
Боль станет непереносима;
Мгновенья омрачают день,
Лишь вздох – и ты уже незрима,

Один лишь шаг, одна ступень –
И всё навек невозвратимо.
На дне источника хранима,
Моей любви трепещет тень.

Но знаменья печальны: мнится,
Что образ глаз твоих двоится,
Что солнц слепых враждебен лик;

Пахнуло горечью полынной –
И венчик радужный поник
И выцвел в глубине пустынной.

Философ

В безмолвье знак мне явлен был:
Она своим огромным оком
Предсказывает ненароком,
Что мой недолговечен пыл.

Мой жар, рассеянный, остыл,
Омыт смеющимся потоком,
И полдень в омуте глубоком
На стрелы солнце раздробил.

Как бог листву чуть тронул краской,
Смягчат ребяческий задор
Они тысячеперстной лаской;

Избыток счастья на простор
Взметнется, и вверху над нами
На искры разлетится пламя.

ПАЛЬЦЕМ ДВИНЬ

Пальцем двинь – засеребрится
Капля. Глубже окуни
Руки, чтобы притвориться
Нежностью могли они,

Пламенем, лазурью чистой,
Сочетаньем величин,
Мнимых мнимостью лучистой
Без опоры и причин;

Не склоняйся этим, тем ли
Ликом в зареве огней,
Не гляди на эти земли...
Шум растет, и всё страшней

Козьей маски приближенье,
Звон и головокруженье.

Избыть ТЕБЯ

Избыть тебя... В надире пламя,
Дымит холодный океан;
Встань парусом, взмахни крылами,
Войди в клубящийся туман.

Всё ниже солнце – не пора ли?
Там волны выше и вольней,
Ветров закрученней спирали
И соль морская солоней.

Взгляни, как море запылало;
Прельстясь иною глубиной,
Подумай: как нам было мало
Бесцветной мудрости земной!

Свернувшись завитком улыбки,
Скользни тихонько в сумрак зыбкий.

К окну замёрзшему...

К окну замёрзшему горячий лоб придуши;
Стремится тело в лень, а мысли в облака,
Мое дыхание туманную патину
Бросает на стекло, а в небесах – тоска.

Там в дымке прячутся далёкие века,
Там день сегодняшний – уже наполовину;
И очевидно то, что ближусь я к притину,
Что Время истекло и жизнь моя хрупка.

Пускай же всё пройдет! Одно мое молчанье
В сердечной глубине хочу я сохранить,
Смерть памяти своей, представя, предварить.

Пусть прячется любовь в печальном очертаньи:
Я – тень отсутствия, я жду лишь одного –
Что след от бытия сотрётся моего.

К спрятанным богам

В глубинах бездонных
Скрывает Нерей
Холодных и сонных
Своих дочерей;
Нет свету прохода
Под гулкие своды:
Там пенится тьма,
И водовороты
Врываются в гроты
И сходят с ума!

Во мраке пещеры
Тромбоны поют,
На праздник Венеры
Невинных зовут!
Призыв животворный
Бесстыдной валторной
Вдали прогудел!
Расправлены крылья.
О, нежность насилья,
Гармония тел!

Глубины, гремите
Под шагом толпы
И эхом звените
Бездарной стопы!
Но наше жилище –

Не заводь-кладбище:
Здесь рвут паруса
Ветра грозовые,
И боги живые
Творят чудеса!

Вызываний, Бездна,
Времен поворот:
День многолюбезный
Стоит у ворот!
И в день тот великий
Сам Янус двуликий
Сведет к одному
Мой ум раздвоённый,
И голубь пленённый
Покинет тюрьму!

Ночная оделетта

Замри и молчи...
Слушай то, что будет:
Тишина разбудит
Тень звука в ночи...

Не голос ли мой
Легкой тенью бродит,
И тебя находит,
И плачет, немой?

О, это же я:
Я, я, несомненно,
Тот, кто неизменно
Всё любит тебя;

Я наедине
Во тьме сам с собою,
Укрыт простынёю,
Лежу в тишине.

И с легкой тоской,
Но без всякой боли
Ожидаю доли
Незнамо какой.

О, как наяву
Различишь меня ты?
Темнотой объятый,
Я молча зову;

Но зов столь силён,
Что, через молчанье,
Сквозь все расстоянья
Легко пронесён,

Дальний голос мой
Лёгкой тенью бродит,
И тебя находит,
И плачет, немой.

ФРАГМЕНТ

…и мёртвые не станут явны снова, —
Быть может, лишь умам, что хрупки и слабы;
Но твой, но мой сильней ещё живой алчбы
Увидеть призраки заветного былого.

Та, преломившая с тобою хлеб земного,
Взяла бесценные дары моей судьбы;
Любовь растаяла с послушностью рабы,
Тщеславных ангелов непостоянно слово.

Чтоб горечь настоять, не хватит чистоты;
Случайно взгляд-другой на море бросишь ты
И видишь — пенится всё то же сожаленье...

МОЛЧАНИЕ

Величье тишины растёт неодолимо,
И к ночи клонятся весы неумолимо;
Дня столь желанного последний огонёк,
Что теплился в горсти, уже совсем поблёк.
Одно молчание на свете остаётся.
И ни одна страна от тени не спасётся!
И даль былых времён теперь недалека,
Колени обняла холодная рука —
Объятье смертное родно душе печальной,
И вчуже помнится ей свет первоначальный.

О, что за вздохом вдруг во мне отозвалось,
Что им обещано, но так и не сбылось!

.....

К СТАРЫМ КНИГАМ

О клады древности, о важные Пенаты,
Хранители даров,
Гробницы, где вотще витают ароматы
Потерянных богов,

В тоске, всё об одном пред вами плачет время:
Пусть, набожной рукой
Коснувшись древних книг, с них снимут это бремя –
Их мертвенный покой.

Давно я не люблю, о ты, златообразный
Тяжелотесный ряд,
Те горы мудрости, что ношей бесполезной
Живущих тяготят!

Учители мои, наследство столь огромно!
В пещерах золотых
Не дышится душе, и груда неподъёмна
Гекзаметров литых.

Везде, о мраморы, мне слышен благодарный
И гордый шёпот: мы,

Чистейшей мысли храм построив светозарный,
Навек избегли тьмы.

Страницы мерных од, вас населяют греки,
Светила древних лет:
Не виден никому во тьме библиотеки
Их негасимый свет,

Свет пленной Красоты, в хрустальном гробе спящей,
Во мраке запертой,
Чтоб и не ведала о страсти настоящей –
Телесной и простой.

Увы, столь долг сон, что смерти он подобен;
Давно молчит ваш дух!
Кругом лишь варвары, и слышать не способен
Их огрубевший слух.

И Лебедь белая в далекие затоны
Потянется с тоской.
И выветрится дух божественный Платона
Из памяти людской.

ЧАСТЬ 5
СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НЕ ТОЛЬКО ОБ АННЕНСКОМ

I

Наше сознание развивалось в окружении материального мира, во взаимодействии с ним, неудивительно, что он нам привычен, и обиходный предмет, принадлежащий ему, способен вызвать у нас эмоциональный отклик, лишь будучи каким-то особым способом преподнесённым («паутины тонкий волос», «бабочка на лысом темени Сократа», etc). Случай, подобные истории со щитом Пантоида, не существуют для обычных людей – шальные мысли если и приходят нам в голову, то тотчас оттуда изгоняются.

Между тем есть способ выйти из любой тюрьмы – закрыть глаза и представить себя на воле. Если этот способ плох, то откуда тогда «Дон Кихот»? Равной действенностью обладает и вот такой способ выхода из нашего обжитого и уютного мира: нужно закрыть глаза, снова их открыть и представить, что все предметы вокруг – увидены впервые. Не так, как мы впервые увидели, скажем, киви, догадываясь (пусть кое в чем и ошибочно), что это фрукт, что он съедобен, что он вырос на дереве, дерево это и сейчас стоит на острове посреди океана, и если проплыть вон на том корабле несколько недель, то можно это дерево даже и потрогать. И не так (хотя это гораздо ближе к требуемому), как видит заспиртованное человеческое сердце ребёнок, нечаянно оказавшийся в анатомическом музее. А так, как потерявший сознание и упавший на пол человек первые несколько мгновений после возвращения к нему зрения видит колесо зингеровской швейной машинки – может быть, и понимая, что это колесо, но никак не

беря в толк, зачем оно здесь, что оно, собственно, означает и где он вообще находится.

Очевидно, что этот способ не имеет ничего общего с многочисленными рецептами придания свежести литературному продукту. Все эти рецепты и даже сама несравненная верленовская декларация в этом случае сразу попадают в «tout le reste».

Это уже не игрушка, это не какой-нибудь «новый взгляд на мир», отмечаемый критиком, как правило, не умеющим разглядеть явной подделки. Почти каждый человек, сумевший вызвать подобное состояние сознательно или впавший в него по какой-то внешней причине, постараётся немедленно стряхнуть с себя это наваждение и стереть всякую память о пережитом ужасе. Никогда более он не отважится по доброй воле выйти во враждебный океан истинно реального из спокойной гавани привычного. Не так ли мы поступаем и с мыслью о собственной смерти?

Увиденный таким образом мир загадочен, необъясним и враждебен. Наше сознание, наше «я» в нём беззащитно и неприкаянно. Оно отделено от мира и ощущает это отделение, как непоправимое несчастье. Является ли такое состояние временным помрачением рассудка?

Скажите, что стало со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?

Или, наоборот, его прояснением? Конечно, продвинутый в естествознании человек понимает, что бытие любого предмета – необъяснимое чудо, что чем пристальнее он будет этот предмет разглядывать, чем тщательнее он будет его пытаться описывать и

объяснить, тем безнадёжно сложней (последний оборот – грамматическое открытие Ник. Т-о) будут эти описания и объяснения, тем с большим отчаяньем придется возвращаться к привычному незнанию. Но этот путь долг и тяжёл. Проделавший его настолько утомлён, что не может уже ни испугаться, ни удивиться. Читая лучшие вещи Анненского, мы оказываемся в пункте назначения много быстрее. Чаще всего это наваждение* преследует людей в больницах (слепые белые стены, безлично-чужие предметы вокруг), подземных переходах (бетонные тунNELи, лица прохожих, превращенные ядовитым светом в дьявольские маски), залах ожидания, вокзалах... Именно отсюда «Тоска вокзала». Одинокому сознанию так страшно среди безликих и чужих предметов, что слияние с ними и собственное уничтожение кажутся желанным избавлением. Кто еще может так же бояться? Чье сознание еще не защищено бронею привычки? С кем чувствуешь себя не совсем одиноким в этой ночи?

Я люблю, когда в доме есть дети,
И когда по ночам они плачут.

Во избежание недоразумений напомним, что термин «остранение» введен через много лет после смерти Анненского. Применение этого термина для описания его художественного метода – плоскость непростительная. У Анненского всё слишком серьёз-

* Ср. со следующей отсылкой к Достоевскому в «Книге отражений»: «...вспоминаешь слова автора “Подростка”, который говорил когда-то, что *самая будничная обстановка* кажется ему сном или *иллюзией*. О испытывал это, например, гнилым, желтым осенним утром на петербургских улицах».

но, никаких «литературных приемов» (а «остранение» это всего лишь искусственный прием) в его лучших стихах нет. «Волны безумья» – волны прозренья не вызывались и не управлялись поэтом, всё добытое им – неподдельно и оплачено дорого; садовая скамейка в коридоре Обуховской больницы с лежащим на ней голым мертвым телом переводчика Еврипида – предмет, не нуждающийся в сообщении ему дополнительной странности.

Гармонизация первобытного ужаса средствами высокоразвитой поэтики, средствами языка, давно уже неотделимого от «камня привычки», сросшегося с ним, составляющего с ним единое целое – задача неимоверной трудности, именно поэтому стихи Анненского столь *с л о ж н ы*, подчас головоломно сложны. Никто из поэтов, тем или иным способом декларировавших своё родство с Анненским (ахматовское «а тот, кого учителем считаю...» – пожалуй, чаще всего упоминаемый пример), не продвинулся в решении этой задачи ни на шаг дальше него, более того, она никого из них даже и *н е з а н и м а л а*.

... И лишь не уставая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов, –
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже ...
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин чёрный кот глядит, как глаз столетий*,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

* Напомним здесь для контраста о *н а с т о я щ е м* ужасе, внушаемом кошкой в «Старой усадьбе»:

Конечно, и у Анненского можно найти нечто похожее, например:

.....
И на пледе голова
Не без сладости хмелеет.

Но подобное облегчение приходило к нему лишь под утро – ночи он проводил совсем иначе, и страхи его не были придуманными.

Интересные попытки Мандельштама, конечно, связаны с Анненским, – например, «Ночь, что будет сейчас и потом», «провал» и «промер», «звёздный табор» из «Стихов о неизвестном солдате» можно и должно с окончанием третьего стихотворения из «Трилистника замирания» («ночь надвигалась ощущением провала») и удивительными «переводами» «астральных» (по определению самого Анненского) стихов Сюлли Приюдома – «Сомнением» (где есть и провал, и промер) и «У звёзд я спрашивал в ночи», но с другой стороны, совершенно очевидно, что поздний Мандельштам ориентировался не на изощреннейшие методы Анненского, а на куда более примитивную «заумную» поэтику Хлебникова, следы влияния которого буквально испещряют весь корпус стихов Мандельштама, начиная, по крайней мере, с «Грифельной оды»*.

~ Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!
Любит древних, любит давних ворошить ...
Не сфальшивишь, так иди уж: у меня
Не в окошке, так из кошки два огня.

* Этот очевидный факт не так давно стал, наконец, известен и литературоведам – см. «Очерки истории языка русской поэзии. Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке» / Под ред. В. П. Григорьева. М., 1994, стр. 8–9.

Таким образом, то ответвление тютчевского ствола русской поэзии, которое создал Анненский, пока им же и заканчивается. Тютчевская интонация, тютчевские реминисценции, осознанные и неосознанные заимствования из Тютчева часто (в «Тихих песнях», может быть, даже слишком часто) встречаются у Анненского, воистину можно утверждать, что из поэтов рубежа веков Анненский – самый прилежный читатель Тютчева (пожалуй, еще только Коневской мог с ним в этом сравниться). И здесь уже заключена чрезвычайно высокая оценка: столетие спустя нам уже совершенно отчетливо видно, что всё сколько-нибудь значительное в русской поэзии XX века сделано людьми, для которых тютчевская поэзия составляла лучшую часть бытия.

Связи Анненского и Тютчева не литературны. Если признать их такими, то с неизбежностью придется говорить о «вторичности», о «заимствованиях», о «несамостоятельности». В конце концов, «Кипарисовый ларец» (точнее, цикл трилистников) представляет собой построенную по законам музыкального развития цепь вариаций на тему одного маленького тютчевского стихотворения*. Но именно этот пример яснее всего открывает нам тайное, высшее родство двух поэтов. Говоря о тютчевской поэзии и о лучших стихах Анненского, мы говорим, по сути, об одном и том же: речь идет о поэте и смерти, о поэте и мире и (пусть уже, но глубже) о русском поэте и русском мире.

* См. третий раздел настоящей работы. Пока только скажем, что удивительнейшее тютчевское стихотворение, о котором идет речь, не относится к числу самых известных. Внешне оно необыкновенно скромно, непрятязательно, почти незаметно. Но в корпусе стихов Тютчева оно занимает приблизительно то же положение, что и крохотная четвёртая пьеса из «Пёстрых листков» в наследии Шумана. Возможно, стоит ещё напомнить, что эта пьеса дала тему брамсовским вариациям.

II

Разность между «Тихими песнями» и «Ларцом» видна во всем – в организации книги, в мироощущении поэта, наконец, просто в степени мастерства (в «Тихих песнях» встречаются весьма досадные провалы) – но более всего эта разность ощущается в способе использования тютчевского наследства. В «Тихих песнях» Анненский пока ещё не нашел точки опоры в тютчевском мире, не выделил в его необъятности той части, которая нуждалась бы в новом поэте для своего проявления, тютчевские образы берутся Анненским в их непроницаемой оболочке, не допускающей добавления чего-либо нового.

Обширный (хотя и неполный) список «тютчевских» стихов «Тихих песен» уже составлялся литературоведами*. Впрочем, стоит помнить, что его начал составлять уже Блок в своей рецензии на книгу Ник. Т-о. Любопытно, что стихотворение «С четырёх сторон чаши» никогда в этот список не заносилось. Напротив, Блок в своей рецензии прямо написал, что стихотворение «С четырёх сторон чаши» радует «совершенной новизной символов». А между тем именно оно доставляет, вероятно, самый характерный пример встраивания «ранним» Анненским тютчевских элементов в ткань своих стихов. Более того, именно в нем достигается удивительное, даже парадоксальное сочетание бесспорной новизны со столь же бесспорной вторичностью. Трудно найти во всем корпусе стихов Анненского другое стихотворение, которое вызвало бы в памяти столь же много ассоциаций со стихами других авторов. Но, с другой стороны, именно в нём, единственный

* См., напр., статью И. В. Петровой «Анненский и Тютчев» (сб. «Искусство слова». М., 1973, с. 277–288).

раз во всех «Тихих песнях», физически ощущается реальное присутствие самого поэта – мы слышим именно его голос.

Нежным баловнем мамаши
То большиться, то шалить ...
И рассеянно из чаши
Пену пить, а влагу лить...

Сил и дней гордясь избытком,
Мимоходом, на лету
Хмельно-розовым напитком
Усыплять свою мечту.

Увидав, что невозможно
Ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
Рядом с сыном, может быть.

Под наплывом лет согнуться,
Но забыв и вкус вина...
По привычке все тянуться
К чаше, выпитой до дна.

Если следовать обычному ходу рассуждений, то это замечательное стихотворение следовало бы признать в высшей степени неоригинальным. Символика его центрального образа банальна и затёрта до предела. С ходу можно привести добрый десяток примеров стихотворений-предшественников. Самый очевидный, конечно, этот:

Чаша жизни
(Лермонтов, 1831, опубл. в 1859)

Мы пьём из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами.

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает.

Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша.
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша!

Другой пример, сразу приходящий в голову, из Фета:

К чему пытать судьбу? Быть может, коротка
В руках у парки нитка наша!
Еще разымячива, душиста и сладка
Нам Гебы пенистая чаша.

Столь же очевидны связи с пушкинской «Телегой жизни» и «Дорогой жизни» Баратынского. Впрочем, стихи, посвящённые «периодизации» человеческой жизни, можно найти у кого угодно – вот, например, стихи Дмитриева:

Начать до света путь и ощупью идти,
На каждом шаге спотыкаться,

К полдням уже за треть дороги перебраться,
Тут с бурей и грозой бороться на пути.

Но льстить себя вдали какою-то мечтою,
Опомнясь, под вечер вздохнуть,
Искать пристанища к покою,
Найти его, прилечь и наконец уснуть ... etc

«Путешествие»*, 1803

Что касается стихов, в которых встречается образ «чаши жизни»**, то они вообще не поддаются перечислению. Конечно, самое сильное влияние – тютчевское. Стrophу

Сил и дней гордясь избытком,
Мимоходом, на лету
Хмельно-розовым напитком
Усыплять свою мечту.

можно назвать простой контаминацией

* Это перевод басни Флориана; высказывалось мнение, что именно эта басня послужила источником пушкинской «Телеги жизни» – см. статью С. Л. Донской «К истории стихотворения «Телега жизни» (Пушкин. Исследования и материалы. VII, Л. 1974); перевод Дмитриева приводится в этой же статье. Довольно любопытно сходство в построении фразы, копирующим инфинитивы французского оригинала, этого старательного перевода с ни в коем случае не переводными стихами Анненского.

** Стоит отметить, что этот образ встречается и в прозе Анненского: «... Постили человек – неблагодарнейшая из тварей... Чем полнее наливают ему кубок, тем горячее будет он верить, что там была лишь одна капля, и та испарилась, едва успев освежить ему губы» («Умирающий Тургенев», «Книга отражений»).

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит.
Как божественный напиток
В жилах млеет и горит!

«В душном воздухе молчанье...»

и

Бродить без дела и без цели
И, ненароком, на лету,
Набрести на свежий дух синели
Или на светлую мечту ...

«Нет, моего к тебе пристрастия ...»

Кажется, что Анненский, говоря о молодости, полноте ощущения жизни, слиянии с бытием, не находит опоры в собственном жизненном опыте и вынужден обращаться к чужому, в данном случае к тютчевскому. Это впечатление только усиливается, если мы поймем, откуда, собственно, у Анненского взялось это «мимоходом», явно идущее не от Тютчева, у которого всё происходит «ненароком». Ответ очевиден:

Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя.

Королевич молод, царь стар – система образов та же, а источник еще ближе, чем тютчевский. Можно найти параллели, лежащие и вне поэзии: «Как будто избыток чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли выражался то в блеске глаз, то в улыбке» (Толстой об Анне – впрочем, трудно поручиться, что и Толстой не зачерпнул из того же, тютчевского источника). Но вот two turns of the screw («большиться» и «рядом с сыном, может

быть»), и лицо поэта на мгновение приоткрывается*, и все стихотворение чудесным образом превращается из безнадежно вторичного в совершенно оригинальное.

III

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шум от стаи журавлиной, –
И в шуме листвьев замер он.

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, –
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

Настоящие стихи могут быть уподоблены ключу от замка. Несколько слов, поставленных в непонятно как угаданном порядке, – и всё свершается само собой, свинцовая стена внутренней глухоты отодвигается, и мы слышим внятный голос предше-

* Воспользуемся случаем, чтобы указать на возможную связь между концовкой рецензии Блока на «Тихие песни» («Хочется, чтобы открылось лицо поэта, которое он как будто от себя хоронит <...> Нет ли в этой скромной затерянности чересчур болезненного надрыва?») – и началом стихотворения, открывающего «Кипарисовый ларец»:

Неразгаданным надрывам
Подоспел сегодня срок ...

«Тоска маятника»

ствующих поколений, голос всех тех, кто, влившись в нас, образовал нашу личность, дав нам и каждую клетку тела, и каждое слово языка. Быть может, нам иногда слышен голос и самого Создателя. Это уподобление показывает всю бессмысленность поисков особых принципов «организации стихотворного текста», позволяющих вместить неограниченную информацию в ограниченный объём. Подход принципиально неверен. Стихи – не хранилище, стихи – это ключ от него.

Тютчевский «Вечер» – самый необходимый ключ. Под маской «пейзажной зарисовки» скрывается одно из самых глубоких стихотворений русской поэзии. Стихотворение о смерти и бессмертии. Очевидно, Анненский знал об этом.

Магическую силу тютчевского восьмистишия, несомненно, ощущает каждый восприимчивый читатель. Однако трактовка этих стихов, как стихов о смерти, может кому-то показаться спорной. Тем не менее существуют и вполне рациональные аргументы в её пользу. Следующее обстоятельство непостижимым образом до сих пор никем не замечалось:

«Вечер» Тютчева представляет собой оригинальную вариацию на тему ламартиновского «L'isolement» – стихотворения, тютчевский перевод которого («Одиночество») существует в трёх (!) различных редакциях.

.....

Всё тихо, всё мертво, лишь колокол священный
Протяжно раздался в окрестности немой;
Прохожий слушает, и звук его смиренный
С последним шумом дня сливает голос свой!

(из первой редакции, 1822)

Как часто, бросив взор с утёсистой вершины,
Сажусь задумчивый в тени древес густой...

.....

И с колокольни одинокой
Разнёсся благовест протяжный и глухой,
Прохожий слушает, — и колокол далёкий
С последним шумом дня сливает голос свой.

.....

Нет в мире одного — и мир весь опустел!
Встает ли день, нощные ль сходят тени,
И мрак и свет противны мне...
Моя судьба не знает изменений —
И горесть вечная в душевной глубине!
Но долго ль страннику томиться в заточенье?
Когда на лучший мир покину дольний прах,
Тот мир, где нет сирот, где вере исполненье,
Где солнце истины в нетленных небесах?

.....

Какая ночь сгостилась над землёю,
И как земля, в виду небес, мертва!
Встаёт гроза и вихрь и лист крутят пустынный!
И мне, и мне, как мёртвому листу,
Пора из жизненной долины —
Умчите ж, бурные, умчите сироту!

(из третьей редакции, 1823)

(История различных редакций «Одиночества» описана в статье В. Вацуро в «Русской речи», 1989, № 4.)

Несомненно, что для Тютчева тема ламартиновских стихов значила очень много (об этом говорит хотя бы количество редакций «Одиночества»). Столь же несомненно, что он не был удовлетворен её разработкой ни в ламартиновском оригинале, ни в

своих переводах. Понадобилось четыре года, чтобы он достиг цели. («Вечер» датируется предположительно 1826 годом.) Все прямые декларации исчезли, разрешение противоречия «смерть-жизнь-бытие-небытие» ушло в подтекст, стихи приобрели бесконечную глубину. Похоже, что Тютчев очень высоко ценил «Вечер» – автограф этого стихотворения расположен на одном листе с автографом «14 декабря 1825 года» – стихотворения, важнейшего для Тютчева.

Атмосфера «Кипарисового ларца» кажется непереносимой. Нагнетание следует за нагнетанием, интермедии не приносят облегчения (характерно, что даже шуточная содержит «шуточки» типа «тю-тю после бо-бо» – в смысле «поболел и помер»), а во время одной из кульминаций («Зимний поезд») просто волосы шевелятся от ужаса*. Смерть, смерть, ужас её, неизбежность её, отчаянье при мысли о ней, безнадёжность, безысходность...

Ходасевич, писавший об Анненском и лучше и глубже всех**, не увидел разрешения в драме «Ларца». Вся его трактовка по-

* Тема «Анненский и Шостакович» не кажется нам надуманной.

** Все-таки лучшее, что сказано об искусстве, сказано языком искусства, именно поэтому статья Ходасевича находится вне сравнений. Пресловутое пресмыкающееся «Вещный мир» – убогая выдумка. Напомним, что Тынянов (не ценивший «Тяжелой лиры») делил стихи на «наши вещи» и «не наши вещи». Очевидно, что это его пристрастие к шипящим перешло и к ученикам – статья Гинзбург содержит осуждение концепции Ходасевича. Отметим, что упоминание «Смерти Ивана Ильича» в этой статье не сопровождается никакой ссылкой и выглядит неожиданно счастливой находкой автора.

эзии Анненского основана на убеждении, что из «Кипарисового ларца» – как и из (кипарисового*) гроба – выхода нет.

Но выход все же находится, в «Ларце» есть потайная дверь. И ключ от неё – тютчевский. Перечтём последний трилистник «Ларца» – «Трилистник замирания»**.

Все мотивы тютчевского «Вечера» разрозненно, то тут то там возникавшие до этого в «Ларце», здесь собираются воедино. Вот три главнейших.

1) Движение звука и света вверх, замирание, таянье –

.....
Я люблю замирание эха...

* Наивно предполагать, что название книги Анненского так уж тесно связано с кипарисовой шкатулкой, служившей хранилищем для рукописей поэта. Вот еще два замечания к генезису названия книги:

- a). Филолог-классик Анненский не мог не помнить о горациевом «linenda cedro et levi servanda cupresso» из послания к Пизонам;
- б). Слово «кипарис» один-единственный раз встречается в «Ларце». Напомним где:

Облака повисли с высей
Помутнели – ослабели
Точно кисти в кипарисе
Над могилой сизо-белы.
(«Трилистник забвения»)

** Напомним, что авторский план композиции «Ларца» стал известен лишь относительно недавно (см. Р. Тименчик, ВОПЛ, 1978, № 8). Произошедшая в результате этого перестановка «Трилистника одиночества» и «Трилистника замирания» кажется нам первостепенно важной.

.....
на бледнеющей шире
В переливах растаявший цвет....

2) Колокольные звоны (сложный комплекс: звоны вечерние*, похоронный звон – символ смерти; весенние, пасхальные колокола – символ воскресения) –

Закатный звон в поле (название второго стихотворения трилистника)

.....
В синюю пустынь небес
Звоны уходят молиться...
Звоны, возьмите меня!

3) Наступление тени – смерти. Противопоставление горнего мира и наступающей тьмы:

Гряда не двигалась и точно застывала,
Ночь надвигалась ощущением провала ...

Здесь очевидна смысловая связь со вторым стихотворением трилистника:

* Ср. с «Вечерним звоном» Мура-Козлова или со стихами Софии Парнок:

Розовеют в заре купола,
Над Москвой разлетаются голуби.
О, любимая. Больше всего люби
Повечерние колокола!
(1917)

Стая голубей напоминает о тютчевских журавлях.

.....

Или и мы там застынем,
Как жемчуга островов
Стынут по заводям синим?

(о посмертии)

Эти мотивы уже не раз возникали в предшествующих стихотворениях «Ларца», не будет преувеличением сказать, что они образуют смысловой стержень всего цикла трилистников. Вот неполный список стихотворений «Ларца», построенных на них: «Дочь Иаира», «Чёрная весна», «Август», «Вербная неделя», «Сверкание», «Спутнице», «Nox vitae», «На северном берегу», «Бронзовый поэт», «Ледяная тюрьма»...

Итак, разрешение драмы в «Ларце» всё же есть – его надо искать в подтексте книги, точнее в подтексте ее подтекста – ведь уже у Тютчева нет никаких прямых указаний на это разрешение. Анненский же прячет его ещё глубже. Да будет нам позволено ещё раз сказать о нём:

Распад всё уравняет – горы и глубины,
Бормочет маятник – как тать в ноши, как тать.
О, время русское! Есть над твоей трясиной
Из двух соломинок таинственная гать –

Твой каждый миг, как шум от стаи журавлиной,
Оплакивать вослед и прошлого искать.
В сомненье – те же ли шуршащие вершины? –
Близ трёх знакомых сосен снова проскакать.

И в час отчаянья, средь ночи без рассвета
Надежду сохраним. Забытого сонета
Обетованьем вспыхнет краешек страны,

Куда войдем навек. И тени, молчаливо
Покрывшие весь мир, не будут нам страшны –
Уже мы далеко в сиянии разлива.

НЕ В ЖАНРЕ ПАНЕГИРИКА

Когда ругали мы друг друга,
когда смеялись друг над другом,
достаточные основанья
имел другой для беснованья.

В том беснованье ежечасном
неверен в корне был расчёт,
ведь только промолчавший – счастлив,
только простиивший был прощён.

Слуцкий

1

По-видимому, изменения уже близки. Безжалостные слова «этот плохой поэт» скоро будут произноситься многими, произноситься без всякого стеснения и смягчающих оговорок, уже не встречая ни сколько-нибудь дельных возражений, ни даже сколько-нибудь правдоподобной ответной истерики. И причины этого не будут связаны с достоинствами и недостатками стихов.

И вдруг случится – как, не знаешь сам,
Хоть силишься себя переупрямить,
Но к старшим братьям нашим и отцам
Бесповоротно охладеет память ...

Пожалуй, это слишком сложное объяснение. Вот другое, по-проще. Сюжет новостей, 85-летний юбилей Рихтера, голос за кадром (все тот же самый, тот же, что звучал в «сюжетах о культуре»

в советской программе «Время»): «в молодости Рихтер был рыжим, он был удивительно похож на Бродского». Стенгазета в пищерском «Лицее Моды» (бывшем швейном ПТУ), старательный девичий почерк (видимо, зарабатывается зачёт по литературе): «Великий русский поэт И. А. Бродский родился...». Чуть ниже весь в виньетках отрывок из «Сретения», по злому стечению обстоятельств тот самый, где младенец лежит на РАМÉНАХ Богоматери. Конечно, последуют усталость и отвращение. Впрочем, поживём – увидим.

2

Вентилятор: «Вторая половина нашего столетия открыла необходимость отношений личности и всей целокупности мира как отношений двух самостоятельных частностей, игнорируя трагичность ... Искусство Слова ... Жизни и Смерти ... Иосиф Бродский – единственный из великих русских поэтов XX века, в чём творчестве ... « (Разумеется, на обороте той же страницы название книги Бродского передано так: «Less thEn one». (раздел «От составителя» в первом томе собрания сочинений, СПб., 1992, нет, виноват, «MCMXCI»).

Человек: «Милостивый государь! Вы не знаете правописания и пишете обыкновенно без смысла. Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбою: не выдавайте себя за представителя образованной публики и решителя споров трех литератур. С истинным почтением и проч.»

3

«Золотое клеймо неудачи». Почему золотое? Проклятое, злое, чёрное, подобие того-сего ... Нет, всё верно: Прочь! Полцарства за коня! Только бы лишь раз

Одним толчком согнать ладью живую ...

Нет, слишком тяжела, не плывет! ... Только премии, поклонницы, интервью.

4

Читал ли он «Евгения Онегина»? Когда впервые услышал о существовании законов просодии? Узнал ли хоть в конце жизни, что такое правильный сонет? На каких образцах учился распределять звуковые и выразительные средства, основам гармонии, наконец, просто хорошему русскому языку? Воспринимал ли утонченную лирику, чуждающуюся «грубой работы»? (Тютчева, а не Цветаеву? Вордсворт, а не Одена?) Что он вынес из чтения Горация? Признав себя в тучном человечке, располагавшемся со своими любовницами «в спальне, разубранной зеркалами, с таким расчётом, чтобы везде, куда ни взглянуть, отражалось бы их соитие», увидел ли свой точный портрет в конце «Послания к Пизонам»?

5

Поздний римлянин? Закат империи? «В тени порfirных бань и мраморных палат»? Последний цвет «утончённой жизни»? Или

толстовский репей на краю поля, только поля не распаханного, как у Толстого, а поля мёртвого, загубленного?

6

Вчитываться в плохие стихи, внешне похожие на настоящие, – занятие унизительное, бесплодное и изматывающее. Надежда сменяется разочарованием, душа устает. После разрушительной работы «поэтов-браконьеров» почва русского стиха истощена, плодородный слой почти прозрачен. Язык может не выдержать нового нашествия. Эта армия затопчет всех и вся. Где спасение? Теперь мы точно знаем, как звучала дудка гаммельнского крысолова. Заунывно, монотонно-однообразно, «с пригнуской» («*Shrill notes*», как угадал Браунинг). И все они в Везере. Можно не вчитываться, ясно с первого слова. Стих получил передышку. Это стоит всех наших гульденов.

7

Опять с телевизора, на этот раз «мастер художественного слова», актёр. Читает только великих – Бродского, Самойлова, ну и немножко Пушкина. После занимается просветительством. «К чему стадам дары свободы?» – это Александр Сергеевич о России и декабристах (Фоменковская хронология, Господи, всё это происходит в Москве, камера показывает крупным планом заворожённых слушателей, зал полон, яблоку негде упасть, интеллигенция. И никто, никто не заорал «Редька! Тыква! Кобыла!»). Потом о Бродском: «Впервые сделал русской поэзии английскую прививку, в этом его непреходящая заслуга ...». Слушают. Буря аплодисментов (цепочка Буало: «*Un sot trouve toujours un plus sot qui*

l'admire»). После, придя домой, скажут: «Ну, это не совсем так, был еще Маршак».

8

«Европейская известность» поэта, по замечанию Хаусмана, важна лишь в случае, если поэт пишет на эсперанто. Сходную мысль высказывал Фрост, формулируя «отрицательное» определение поэзии («то, что исчезает при переводе»). Английские стихи Бродского вполне узнаваемы, ни один, даже самый удачный, перевод никогда не давал столь абсолютно точного попадания в цель. Беря близкий пример английских стихов Набокова, сталкиваемся с чем-то совершенно иным. Они мало похожи на русские стихи Сирина или (позднего) Набокова. С другой стороны, если выбирать «самое набоковское» во всем набоковском корпусе, то ещё можно поколебаться между, скажем, «Поэтами» и «An evening of russian poetry». Возможно, это лучший пример отличия логики поэзии от логики конструкции.

9

«О щ щ щ е н и е н е м е д л е н н о г о в п а д а н и я в зависимости от оного, от всего, что на нём уже высказано, написано, осуществлено». Авторша бессмертного «так впадываются в пропасть» имела резон, ведь можно же сказать «вляпываются». А вот и оно:

This is the wall that Ivan built.

Лучший вид на этот город ...

На этом «оном» было высказано и осуществлено довольно много. Эсперанто.

10

Собрания стихов крупных поэтов – отличаются одновременно единством и многообразием. Причем определить, в чем это единство состоит, чрезвычайно трудно. Люди с абсолютным слухом и развитой музыкальностью утверждают, что каждая тональность имеет свой характер, свой цвет и что при транспонировании музыка совершенно меняется. В то же время, акустика и физиология слуха не дают никаких объяснений этому эффекту. Сходным образом исследование «поэтического хозяйства» и подсчет ударений с последующими статистическими выводами (как правило, безграмотными) объясняют всё, кроме главного. Почему у каждого поэта «своя тональность»? «Три ключа» и «Что в имени тебе моем» – два разных мира и в то же время чем-то похожи. Только чем? Не объяснить. Стихи Бродского сходны между собою каким-то «грубым» сходством. В результате единство, безусловно есть, но многообразия нет и в помине. Механическое пианино. (То же, кстати, верно и для стихов Цветаевой. Читать их в больших количествах подряд – пытка. Впрочем, говорят, что в этом случае найдено рациональное объяснение – ритмические схемы строк с какими-то определенными номерами у нее всегда полностью совпадают (проверять неинтересно)).

11

«Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно, – стилистическую зависимость моих русских построе-

ний от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражён самый воздух моего тогдашнего быта <...> – и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал» (Набоков. «Другие берега»). «Бродский и Оден» – тема, для которой количество материалов избыточно. Сотрудники советского ядерного проекта изумлялись глубине и точности курчатовских указаний. Об истинном положении дел никто из них не подозревал, лишь самые догадливые считали, что параллельно с ними работает другая группа, гораздо более сильная. Вероятно, и до сих пор большинство русских читателей остается в сходном неведении, объясняя разительные перемены, произошедшие в поэтике Бродского после ссылки, «внутренними» причинами. Отметим, что сама возможность такого «второго воплощения» говорит об оригинале ещё больше, чем о копии. Пушкинский план «*dans le style de Cristabelle* <...> « не мог быть реализован никогда. Впрочем, эти заметки не об Одене.

12

Маленькое упражнение, чтобы позабавить читателя. Что это такое?

А она отошла мористей и под воду скрылась, – ветер
И теченье прекрасно справились с назначением мертвца
В полной форме британских войск и его небольшим портфелем,
Где лежала дезинформация и письмо к мертвцу отца,
Сэра Уильяма: «Дорогой, я доволен своим отелем,
Но скучаю по дому ... etc

Неплохой (был бы хорошим, если бы не «мертвцу отца») перевод Одена? Среднестатистический Бродский? Ха! Как бы не

так! Кушнер! («1943. Эпизод» – из сборника «Тысячелистник», СПб., 1998). Не всякий доплынет до середины Везера.

13

Удача «Осеннего крика ястреба» необычайна. Всем фальшивым нотам придан статус убедительных диссонансов, противовесственные переносы стали элементами узора из ломанных линий, все образы оправданы – конструкция абсолютно устойчива. Так, например, при первом прочтении кажется, что буквы, прячущие от взгляда сверху гнездо и разбитую скорлупу, не могут скрывать тени птицы, и текст неудачен. Но оказывается, что произошла смена точек зрения – в тени букв белка уже не различит угрожающей тени летящего над лесом ястреба. Сомнительные элементы («её же увеличивая за счёт ...», «плюс паутину, звуку присущую», «пахнет апофеозом звука, особенно в октябре»), без которых не обходится ни один текст Бродского, на этот раз не выделены, а надежно упрятаны в глубоких складках рельефа. Достигнут верхний предел искусности и изощренности. Больше всего это напоминает партитуру Стравинского. Причина такой удачи очевидна: стихотворение, в котором есть «долина Коннектикута», «Новая Англия», «Рио-Гранде», «тринадцать штатов» и детвора, кричащая по-английски, стихотворение, написанное «серийной» одновеско-цветаевской техникой, стихотворение, издающее «звук стали, впившийся в алюминий», вдруг, быть может, преодолев волю своего автора, вступает в диалог с большой русской поэзией. Ястреб вытолкнут не в ионосферу, а в пределы огромного «древнего жилья», жилья, обжитого Державиным, Тютчевым и Ходасевичем. Вот, почти наугад, случайно, первое, что пришло в голову:

Детали:

И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой;
Пух на груди, спина крылата,
Лебяжьей лоснюсь белизной.

Лечу, парю – и под собою
Моря, леса, мир вижу весь;

.....

(Северно-западный ветер его подымает над\сизой, лиловой, пунцовой, алой\ Со временем о мне узнают:\Славяны, гунны, скифы, чудь)

Колорит:

(просторное осеннее небо (пустеет воздух, паутина, лазурь, хрусталь).

Идея:

Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крыльшком, ни сердцем подневольным.

И, конечно, –

Уж не вернуться нам назад.

Русская муз щедра и незлопамятна. Преданные поэзии ею вознаграждаются. Бенедиктов получил в дар «Переход». Бродский – «Ястреба».

14

Нелюбовь к Блоку – нелюбовь к отделенному от себя живому телу (смерть-обрыв, в противоположность смертям-поворотам, смертям, о которых писал Заболоцкий:

Я умирал не раз. О сколько мёртвых тел
Я отделил от собственного тела.

Все слова о «пошлости», «водянистости», «безвкусице», etc ничего не стоят. Это мог говорить поэт, сам вовсе не печатавший слабых или безвкусных стихотворений. Так мог говорить, но – и это самое важное – не говорил Ходасевич. Зная все о блоковских безвкусицах, он всё же предпочел сказать, что до Блока «никому не допрыгнуть».)

Душа, проплывшая над мостами в петроградском дыму, была ещё родственна душе, перед которой

*... в последний раз проплыли
Мимо, сонно, как в тумане,
Люди, зданья, города.*

Дальше дороги разошлись. Астрономически объективный ад – не Елисейские поля.

На Васильевский остров
 Выйдя после парнишки,
 Чей не найден и остов,
 Что не видел той вспышки,
 Этим ритмом заемным
 Души *малых* потряс.
 Мир не ведал о нем. Но
 Рифмовал неуёмно...
 Где он, тот лоботряс?

В безымянном болоте,
 Что с того, что в Нью-Йорке,
 Под ферматой на ноте
 Ослоухой галерки,
 Подлой клаки газетной
 «Нобель, Нобель, о, Нобель!»
 Со строфою газетной,
 Вместе с рифмой клозетной
 Вот лежит он во гробе.

Сердце? – Сердце разрывом
 Подытожило счет,
 А душа над обрывом
 Плачет, бьется еще.
 Так ли уж неустанно
 Поспешала во тьму,

Чтоб в дороге расстannой,
В пре глухой бесталанной
Слать проклятья ему?

Разве око за око
Русской музы завет?
Оскорблённого Блока
Будет кротким привет.
И Петра он упросит
Дать от рая ключи,
Собирая колосья
Стихомногого лосся,
И репей не топчи!

(5.02.1996)

ИЗ ЗАМЕТОК О ЗАБОЛОЦКОМ

1. Уже много лет наша русская северная природа говорит этим языком. В серый неприветливый ноябрьский день стоишь среди голого поля на складках замерзшей грязи – *груды*, ежишься, глядя на первые, еще редкие, снежинки, и вдруг как услышишь откуда: «зимы холодное и ясное начало ...» и полной грудью вздохнешь – и да, так и есть: «острый, как металл» – и разогнешься, и вспомнишь все целиком: от ясного этого начала и до самого конца – до каменного гроба и той жуткой ледяной трубы, в которую падает ветер. И каждый год так, уж где застанет – не в поле, так около пустыря какого-нибудь городского. То же и в оттепель, глядя на осевшие сугробы, и в утреннем свете, бьющем сквозь березовую листву, и в предгрозовом сумраке. И не всплывшим пузырьком подошедшей к слуху цитаты – дуновением. Впрочем, так и сказано в «Завещании».

2. Вот небольшой отрывок, выписанный мной из недавней статьи* о Гончарове:

Собственно это не сон, а метафора сна, обнимающая собою всё, что произошло с центральными героями «Обрыва» <...> Итак, «в последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул ещё раз на провожающую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом – и в этом взгляде, в одном мгновении, вдруг промелькнул как будто всем им приснившийся, тяжёлый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки...

* Л. С. Гейро. «Сообразно времени и обстоятельствам...» (Творческая история романа «Обрыв») / Лит. наследство, т. 102. М., 2000, с. 153).

Никто не сказал ни слова <...> С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида».

Нельзя, читая эти строки, не вспомнить маленький шедевр Тютчева – стихотворение, написанное им в 1851 г.:

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек ...

Гончаров не мог его знать <...> Речь идет о другом. О той питаемой всей мировой культурой насыщенности духовной жизни, которая создавала подобные сближения <...>

Вспомнив Тютчева, вспомним и Заболоцкого. Только теперь для этого понадобится не «Обрыв», а «Обломов», и – опять! – сон:

Не всё резв, однако ж, ребёнок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на всё так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним («Сон Обломова»).

Если вслушаться, то за правильно окружлой речью Гончарова можно теперь уловить и другой голос:

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,

Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычен
И сельский этот дом, и сад, и огород.
Где наклоняясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поёт?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый шмель ползёт по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал её, как чудо из чудес.
И в глубь души её, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придёт. Но и жена и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос всё будет вспоминать.

И это не всё, вот еще один отрывок из «Обломова»:

Андрей часто, отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу, и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или возвращаясь от красот южной природы в берёзовую рощу, где гулял еще ребенком.

Теперь другой сон, уже у Заболоцкого:

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи,

Где синее небо бледнее,
Растенъя скромнее и проще ...

И снова «Обрыв»:

Часто, в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений раздражительных красок юга – его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести всё с собой туда, в свою Малиновку...

И опять, на этот раз уже по совершенно случайной ассоциации, голос Заболоцкого:

... Малиновка, стаю покинув,
Вдруг на плечо уселась и мягкой своею головкой
Прямо к щеке прислонилась. Дурочка, что ты? Быть может,
Хочешь сказать мне что-нибудь? Нет? Посмотри-ка на небо,
Видишь – как летят облака? Мы с тобою, малютка,
Тоже, наверно, два облачка, только одно с бородою,
С лёгким другое крылом, – и оба растаем навеки.

С наслаждением теперь восстановливаю купюру, скрывавшуюся за моими отточиями в цитате, с которой я начал эту цепочку отражений.

Истоки ее (метафоры сна. – A. K.), возможно, в древнейших мифологических представлениях человечества о кратковременности пребывания на земле тела и вечной жизни духа за её пределами: «вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что

такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий – сказано в Соборном послании апостола Иакова. <...> Это изречение один из русских книжников <...> положил в основание своей формулы «... земное житие пара есть сон».

Какая там «мировая культура» ... В первой части книги я уже спрашивал

.... Ужель обитают
Все эти виденья – за краем земного,
И всё ещё в дальних туманах витает
Тот сон, где явилось нам Первое Слово?

Мне кажется, что я был прав в своей догадке.

3. Подобную «игру в сближения» можно длить без конца. Чем оригинальней и самостоятельней автор, тем больше в его творчестве подобных отголосков. Впрочем, в случае Гончарова и Заболоцкого есть ещё кое-что общее. Оба они – омыты с особенно тихой гладью поверху.

Можно ещё напомнить давнее наблюдение о том, что русские романы обладают способностью не только вырасти из стихотворения (ср. «Сначала мысль воплощена ...» у Баратынского), но и «вернуться» в стихотворение. И «гончаровские» и, конечно, «толстовские» стихи Заболоцкого пример того, как поэтические импульсы, породившие великие романы, выплескиваются за пределы этих романов и обретают в своем втором рождении ту форму, которая – кто знает – может, и должна была им с самого начала соответствовать.

4. Поджав губы, кисло, – это «Некрасивая девочка» что ли? Сентиментальная риторика, всё по-советски, всё так не *тонко*. Нет, нет – «Столбцы», конечно, хороши, но потом ...

Отчего он говорит это? Наездился «окольных притч рытвинами», а о прямой дороге не знает? Привык в прошлой жизни к подстановкам и уже не верит, что соль может быть действительно солёной? Гонерилья милее? Да какой из него Лир! Просто *чуёт* правду. Ведь его тогда – нет.

«Оценивать поэта могут только поэты, но не все, а лишь самые лучшие» – отметил в своих знаменитых «Открытиях» Бен Джонсон, назвав Горация мудрым и справедливым критиком, поскольку его суждения основывались не на личном мнении, а на собственном творческом опыте.

Именно поэтому в длящейся и посейчас истории непризнания Заболоцкого есть, собственно, только один факт, требующий объяснения и обсуждения. (Среди прочих отметим разве лишь такой. «Тоже мне Тютчев нашелся» – сказал Мандельштам, услышав «Осенние приметы».) Почему Ходасевич заподозрил автора «Столбцов» в сознательном издевательстве над тупоумной редакцией?

Да, самый лучший поэт действительно был и самым лучшим критиком, ошибок он не делал, однако «Столбцы» в мнении абсолютно всех *ценителей* всегда стояли необыкновенно высоко. Не желая подвергать сомнению максиму Бена Джонсона, учтём мнение ещё одного судьи. Как сказано в литературном завещании Заболоцкого, итоговая рукопись полного собрания «делится на две части:

Часть первая. Столбцы и поэмы (1926–1933).

Часть вторая. Стихотворения (1932–1958)».

Таким образом, по мнению Заболоцкого, поэма «Рубрук в Монголии» – это стихотворение, а, скажем, *почти гениальный «Поприщин»* – даже и не столбец, поскольку вообще не попал в окончательный свод.

Вспомним, с каким отвращением относился Ходасевич к тому типу «*homo novus*», который громко заявил о себе в 20-х годах прошлого столетия. Человек без культурных корней искусству нес смерть. Так, мэтров формализма, священных коров нынешней филологии, Ходасевич, мягко говоря, ни в грош не ставил. Достаточно вспомнить кажущуюся излишне подозрительному слуху едва ли не погромной характеристику Шкловского или диагноз «вычурная мертвчина», поставленный тыняновским историческим романам. Многим это и сейчас не по нраву. Мол, нельзя оказываться в одном стане с примитивными и корыстными мерзавцами, использовавшими слово «формализм», как дубинку для уничтожения «цвета культуры». Отчего ж? «Царство, разделившееся само в себе, падет». Оно и упало, разделившись. И то, что одна его часть была относительно умнее, тоньше и благороднее другой, в сущности, маловажно.

Эта среда по определению не могла произвести ничего стоящего. С другой стороны, подборка Заболоцкого, которую читал Ходасевич, в самом деле была «чем-то действительно разительным». Невероятная литературная одаренность автора была очевидной. Почему же признать подлинность этих стихов было невозможно? Неужели только в силу принятого определения? Конечно, нет.

Ходасевич много раз напоминал, что Пушкин, случалось, исписывал кругом несколько страниц, чтобы найти одно единственное слово. Все вещи раннего Заболоцкого кажутся создан-

ными за время, которое, грубо говоря, достаточно лишь для простой переписки уже готового текста. Эти стихи и вправду могли быть написаны что называется «за одну ночь».

« Бумаги не мои, то есть я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов.

<...> Вот мой настоящий паспорт. (Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную.) Прочтите хоть одно стихотворение, этого и вам, и мне будет достаточно» (В. Набоков. «Василий Шишков», 1940).

Глядя на бабочку, кто помнит о гусенице?

Или, намеренно заостряя до пределов возможного и правдоподобного, прочтем замечательные «Метаморфозы» как стихи о стихах:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь. –
На самом деле то, что именуют мной, –
Не я один. Нас много. Я – живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О сколько мёртвых тел
Я отделил от собственного тела!

Создать «Столбцы» мог только обладатель «второй тетради». Правда, заполняться она стала только несколько лет спустя, когда болезненная операция по отделению мёртвого тела была уже закончена. Но в тех же «Метаморфозах» мы находим и «мой бедный прах, когда-то так любимый». Это самосожаление легко оправдать: много лет спустя оно дало «Прощание с друзьями» (сти-

хотворение, которое, подобно тютчевскому «Вот бреду я вдоль большой дороги», никому нельзя читать вслух). Оно же и сохранило в окончательном своде раздел «Столбцы и поэмы (1926–1933)».

Спор о позднем и раннем Заболоцком – «томление пустое». Скажем прямо, без оглядки на ценителей: читать «Столбцы» подряд – пытка, пусть и не самая страшная, но все-таки пытка. Читая же «потрепанную тетрадь», всегда ощущаешь «эффект третьего тома» (академического Пушкина или, быть может, Блока). Перелистывая страницы, всё время как бы говоришь сам себе: «это и это, и еще это, и, Боже мой, Боже мой – это».

5. Живая жизнь создает конфликты глубже и шекспировских, и еврипидовских. Коллизия Заболоцкий – Гроссман в ее частной, семейной составляющей не подлежит обсуждению (но и забыта быть не может, «Жизнь и судьба», вероятно, еще какое-то время будет иметь читателей, «лакейство» Соколова и скромность его таланта в сравнении со штрумовским – детали, которые должны быть оценены по их достоинству). Противостояние личное лишь оттеняет (с обычной для жизни досадной избыточностью) противостояние сущностное. Остережёмся удобных и расхожих оценок. Произнесённые, они как бы решают заранее всё ещё длящийся спор, благополучный исход которого пока сомнителен. «Вскрикнуть и пробудиться» вместе с героем «Бегства в Египет» нам невозможно.

6. «В кино», «Некрасивая девочка», «Старая актриса» – на что это больше всего похоже? Пожалуй, на объяснение умным, чутким и красноречивым критиком увиденной на выставке картины. Так, скажем, Розанов писал о Репине – идя вглубь полотна,

проницательно угадывая предысторию, взаимоотношение фигур, обыкновенный и высший смыслы происходящего. Чуть меньше это похоже на саму картину, т. е. на вещь, не нуждающуюся ни в каком объяснении, бесконечно превосходящую любое объяснение. Почетное, но поражение.

Идеи этих совершенно замечательных неудач суть идеи живописца, лишенного кисти и холста, и принужденного объясняться словами.

Хорошо бы печатать «Портрет» *после* этих трёх стихотворений.

7. Тема смерти, «невозможная мысль» – извечная спутница поэзии. Но есть и вторая подобная тема, другая пропасть, над которой замирает в отчаянья человеческая мысль. Мало того, что наше существование конечно, оно ещё и пренебрежимо незначительно. В миллионоголовой толпе отдельный человек неразличим. И это одна из неотвязных мыслей Заболоцкого.

Природа хочет жить, и потому она
Миллионы зёрен скармливает птицам,
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам
Едва ли вырывается одна.

Особенно остро это ощущается в столпотворениях, бессмысленных и гибельных давках, исходах беженцев, на вокзалах, в тюрьмах ... И сколько из этого выпало на его долю. Но чья же рука всё время выхватывала поэта из толпы? Из толпы «новых людей» – мотыльков, бессмысленно бившихся о стекло, обессиливших и сметённых с подоконника грязной тряпкой? Из толпы заключённых, ожидающих посадки на баржу, которая потом сги-

нет на дне ледяного Амура? Не рука ли той самой «враждебной власти» возвавшей человека из ничтожества-небытия или ещё кое-чего похуже? Что поэт знал о ней? Какой тайный опыт скрывается, например, за вот этими его словами, одними из самых последних:

Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля лишь клок небес и даже,
Быть может, лучший клок небес?

Всё же будем помнить, что это слова русского поэта, жившего в самый страшный для России век. И, думая о его пути, не удержимся – подобно князю Андрею – воскликнуть: *какая судьба!*

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 СТИХОТВОРЕНИЯ

«Укрылись броней ледяною...»	5
«Весь день лил дождь. Набухший влагой лес...»	6
«Волшебными мехами...»	7
«К той золотинке звёздной пыли...»	8
«Где душа в этот миг? Всё ли в теле живом?»	9
«Распад все уравняет – горы и глубины...»	10
«За далёким лесом...»	11
«Уходит прочь последний день зимы...»	12
* * *	
I. «Твой поезд отошёл. Четыре огонька...»	13
II. «Хотя в твоих глазах горит печальный свет...»	13
III. «Вновь солнце показалось после зимней спячки...» ..	14
«Илья-пророк, под вечер бороздя...»	15
«Сырой туман сгустился к Рождеству...»	15
«Ax, вот как, и вы в той стране побывали...»	16
Русский квадрат	17
Заносчивые ямбы	20
«Прозрачны трели и воздушны...»	21
«Когда поймём мы смыслы расстояний?»	22
D Es C H	22

* * *

1. «В чёрном пальто человечек сутулый...»	23
2. «Жизнь прошла. Я не был счастлив...»	24
Warum?	24
«Учил он: “Отвернись к стене...»	25
«Маслиной зеленеющей в Твоём дому...»	26
«Как волной набегающей...»	27
«Хоть год-другой иль только лишь мгновенье...»	28
«Эти бассенные, чужие...»	28
«Распугиваю перепутья...»	29
«Когда узнаю – что это было...»	29
«Язык их изощрён. Язвительное слово...»	30
«Последние гроши – и все ей на потребу...»	31
«Час от часу пустее свет...»	31
«От западных морей до самых врат восточных...»	32
«Ужасный рынок безумно-гулкий...»	32
Футбол в Кембридже	33
Фонтан Пирамида (Петергоф)	33
«Ты след запутал, превзойдя лисиц...»	34
Крым	35
«Горные травы по пояс...»	35
«Как мириады черепов...»	35
Петербург	35
I. «Знаменитая игла...»	36
II. «О, Запад, ветер тихо веющий...»	37
III. «Ветры восточные с озера Белого...»	37
Седьмое мая	38
«Смеркается. В сыром предместье ада...»	39
«И Иван, и Лука, и Матвей...»	40
KV 421	41

ЧАСТЬ 2 ПОЭМЫ

Строфы Ионы, пророка из Гафхефера	45
Кавказские строфы	54

ЧАСТЬ 3

ПЕРЕВОДЫ ИЗ АНГЛИЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ И КАНАДСКИХ ПОЭТОВ

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ А. Э. ХАУСМАНА

«А кони мои? Всё в поле?»	89
«Быстро и чисто. Из пистолета...»	90
«Раздвинул воды и провёл...»	91
Веселый вожатый	93
«Словно в сновиденье странном...»	95
«И ложные тоже погасли огни...»	96
«Раз вечером, после работы...»	96
К моим похоронам	98

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ РОБЕРТА БРАУНИНГА ИЗ КНИГИ «Мужчины и женщины»

Токката Галуппи	105
У огня	108

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ РОБЕРТА ФРОСТА

«Готов поклясться и поверить сам...»	119
«Ты слышишь ли, о чём она поет...»	119
«Под тёплым ветром высохла роса...»	120

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ БЛИССА КАРМЕНА

Молитва язычника	121
Песня бродяги	122

ЧАСТЬ 4 ПЕРЕВОДЫ ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕКОНТА де ЛИЛЯ

Воющие парии	125
Ехидна	126
Сон кондора	129
Последнее видение	130
Тысячелетие спустя	132
Ночь. Ветер ледяной....	133
Fiat Nox	135

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

«Разгорается свет. Вот всё ярче восход...»	136
«Прислушайся к песенке нежной...»	137

Из СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ

Страх смерти	139
--------------------	-----

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛИ ВАЛЕРИ

Пчела	140
Поэзия	141
Пифия	143
Льстец	152
Мнимомёртвая	152
Гранаты	153
Крушение	154
Беседа (<i>для двух флейт</i>)	155
Час	157
На рассвете.....	158
Равноденствие. Элегия.....	159
Песня на два голоса	161
Девушка	162
Духовная пчела	163
Беатриче	164
Философ	165
Пальцем двинь	166
Избыть тебя	167
К окну замёрвшему.....	168
К спрятанным богам	169
Ночная оделетта	170
Фрагмент	172
Молчание	172
К старым книгам	173

ЧАСТЬ 5
СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Не только об Анненском	177
Не в жанре панегирика	196
Из заметок о Заболоцком	208

На досуге поэт Алексей Кокотов изредка занимается математикой...

Можно наоборот (и точнее по фактам, но не «по жизни»): на досуге математик Алексей Кокотов пишет стихи, занимается поэтическим переводом и серьезным литературоведением.

...Не всё ли равно. Ни одному из жанров Кокотов не принадлежит «без остатка»: отлично пишет стихи, блестяще переводит с английского и французского (как же иначе, если живет он преимущественно в Монреале, где оба языка и обе литературы равноправны), да и литературовед он неординарный.

В книгу вошли лучшие стихотворения, поэмы, переводы и литературоведческие работы А. Кокотова.

